

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

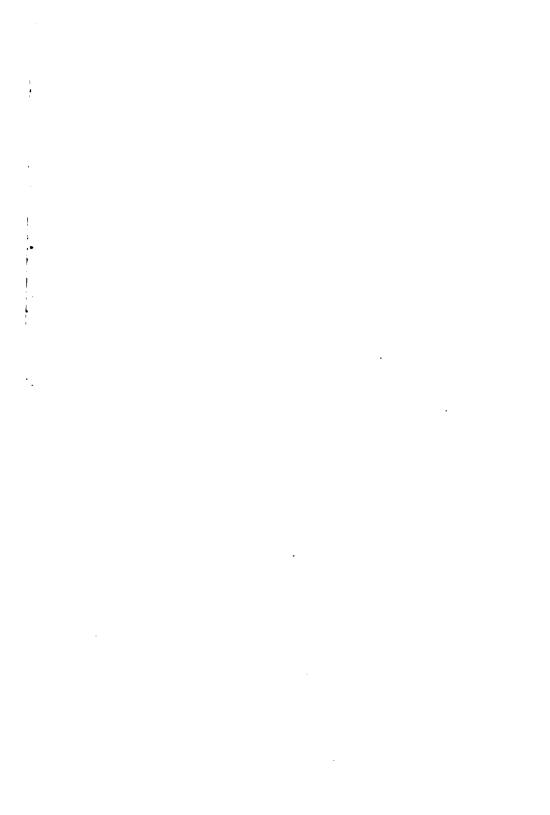
- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

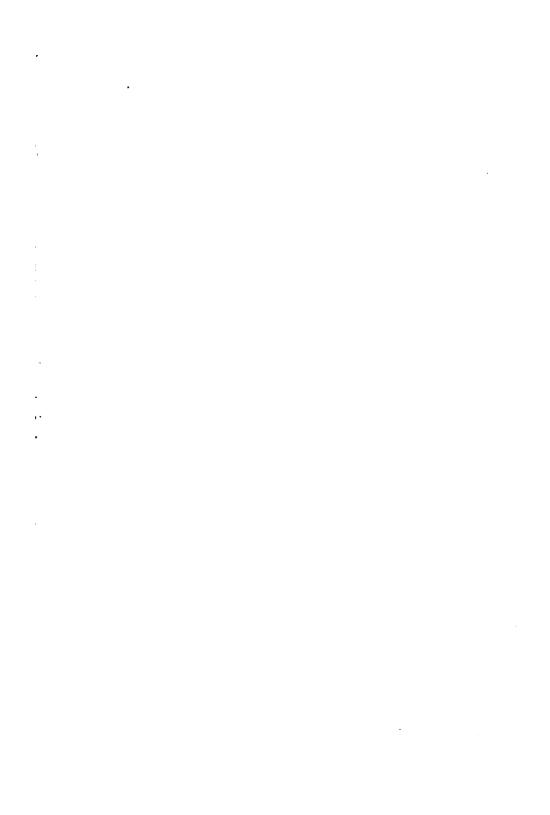
Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



HARVARD COLLEGE LIBRARY

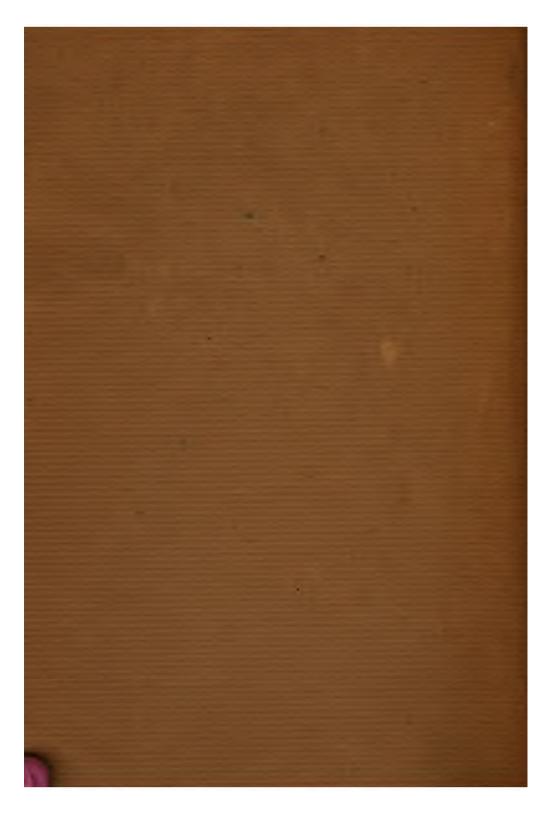






The state of the state of the state of

В.М.ДОРОШЕВИЧ Tom VII COEPAHUE COUNTEHUN PACCKA36



bud •

• •

В. М. Дорошевичъ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

TOME OII.

Разсказы.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

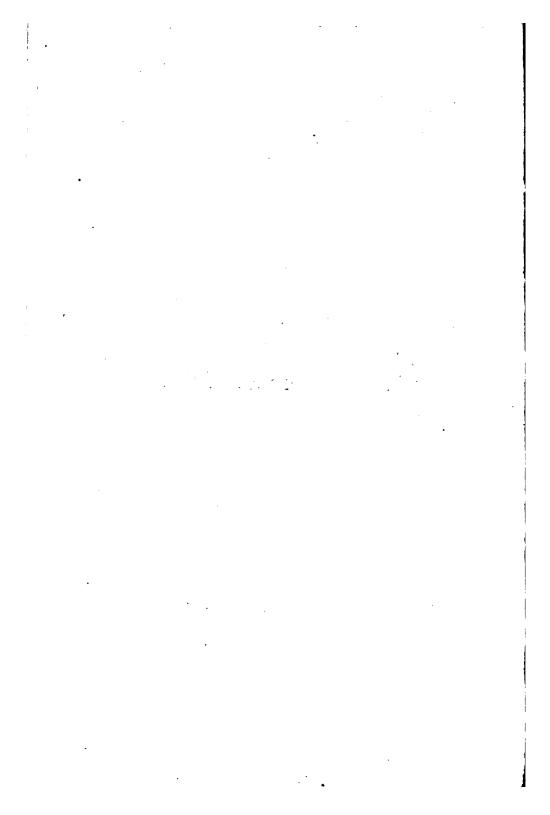


Slav 4338.7.3 (7)

FAS SL



Очаровательное горе.



Очаровательное горе.

(Маленькая, но глубокая трагедія.)

Мнъ много приходилось видъть картинъ человъческаго горя, но клянусь, я не видалъ несчастія болье прелестнаго, очаровательнаго.

Ея горе состоить въ прелестныхъ плутовскихъ глазкахъ, золотистыхъ волосахъ настоящей Гретхенъ, задорно вздернутомъ носикъ, губкахъ, которыя поэты стараго времени сравнивали со "спълыми вишнями". Когда она улыбается, изъ-за этихъ губокъ, какъ говорили въ старину, "сверкаетъ два ряда жемчужныхъ зубокъ". Когда она плачетъ, ее хочется расцъловать.

Когда она вошла, мнъ показалось, что въ мою комнату ворвался лучъ солнца, струя весенняго воздуха.

Когда она сказала мит своимъ мелодичнымъ серебристымъ голоскомъ: "Я вамъ не помъщала?"—мит показалось, что лучше этого я никогда ничего не слыхаль въ жизни.

А между твмъ...

Если бъ вы меня назвали уродомъ, честное слово, это быль бы самый счастливый день въ моей жизни!— сказала она, и въ голосъ ея послышалось столько неподдъльнаго горя.

— Это несчастіе! Когда я надъваю простенькую шляпку, — всъ говорять: "какая прелесть!" Если я хожу въ темномъ платочкъ, — находять, что я похожа на хорошенькую кармелитку. Наконецъ, когда я надъла вотъ эту зимнюю шапочку, — говорять, что я похожа на задорнаго мальчишку. А между тъмъ я погибаю. Не смотрите хоть вы на меня, какъ на хорошенькую, — выслушайте и скажите, что же мнъ дълать?

Какъ тысячи, она, круглая сирота, прівхала сюда изъ провинціи искать мъста: гувернантки, лектрисы, конторщицы—все равно, честнаго труда.

Она публиковалась въ газетахъ и получила много предложеній.

— Но что это были за предложенія! Я устала ужъ краснъть отъ предложеній, которыя мнъ дълають. Я привыкла къ этому позору, какъ къ чему-то обычному и неизбъжному. Но тогда я краснъла, я плакала, я съ ужасомъ спрашивала себя: "за что же, за что меня такъ оскорбляють? Неужели только за то, что я хорошенькая?"

Наконецъ, она остановилась на одномъ. На мъстъ лектрисы.

— Больной разбитый параличомъ старикъ.

Полутрупъ. Право, иногда, во время чтенія, миѣ дѣлалось страшно. Миѣ казалось, что онъ умеръ и въ креслѣ лежитъ трупъ. Я поднимала глаза, — онъ смотрѣлъ на меня взглядомъ, въ которомъ свѣтилось чтото странное. Минутами миѣ казалось, что я сижу рядомъ съ трупомъ, что я слышу даже запахъ разлагающагося тѣла, а трупъ пристально смотрѣлъ на меня тѣмъ же страннымъ взглядомъ, не спуская глазъ. Миѣ дѣлалось страшно и противно.

Боже, что онъ заставлялъ меня читать по-французски. Я краснъла до корней волосъ, давилась слезами

отъ стида и оскорбленія. А чаще не понимала. Это было еще хуже. Тогда онъ принимался объяснять мнъ и не умолкалъ до тъхъ поръ, пока я, молодая дъвушка, не понимала всего. Довольно вамъ сказать, что нъть въ міръ такихъ вещей, которыхъ бы я не знала! А между тъмъ, клянусь вамъ, я дъвушка какъ Жанна д'Аркъ! Здороваясь и прощаясь, онъ долго задерживаль мою руку въ своей, любуясь моимъ смущеніемъ, а между тъмъ, я дрожала отъ отвращенія и страха передъ этимъ полутрупомъ. Не знаю, какъ онъ объясняль себъ мое смущеніе, — но только однажды, когда я, по его просьбъ, поправляла пледъ, закрывавшій его ноги, онъ обняль меня за талью, притянуль къ себъ и поцъловалъ. Мнъ кажется, что я и до сихъ поръ еще чувствую на своей щекъ прикосновение этихъ влажныхь губъ. Я вырвалась, кажется, ударила его, крикнула что-то и въ ужасъ кинулась вонъ. Меня душили рыданія.

Больше она ужъ не рисковала являться по "мужскимъ приглашеніямъ". Къ счастью, ей скоро подвернулась кліэнтка:

— Пожилая, болъзненная женщина, мужъ которой постоянно живетъ въ Петербургъ, отговариваясь дълами. Эта брошенная больная женщина тосковала страшно, возбуждала искренне сожалъніе, и я дълала все, чтобъ хоть немного ее разсъять въ ея горъ. Я выбирала лучшія, наиболъе занимательныя книги, старалась читать съ чувствомъ, съ выраженіемъ, я окружала ее заботливостью, но каждое мое движеніе, самый видъ мой возбуждали ея ненависть. Когда въкнигъ попадались слова "хорошенькая женщина", "красивая дъвушка", она говорила: "смазливая кукла!"—

и смотръла на меня такъ, словно хотъла укусить. Часто она прерывала чтеніе и начинала бранить всёхъ теперешнихъ дъвушекъ, -- словно передъ ней сидъла древняя старуха. И лицо ея дълалось при этомъ такое злое, такое злое. Моя походка, голосъ, прическа, все ее раздражало, выводило изъ себя. Она упрекала меня въ томъ, что я завиваю себъ волосы, — хотя они, право, вьются у меня отъ природы. А когда я пришла въ новомъ синемъ суконномъ платъв, очень простенькомъ и скромномъ, -- она, -- въ тотъ день она получила письмо, что мужъ остается въ Петербургъ еще на два мъсяца, -- она раскричалась, что я похожа на кокотку, что такія дряни только и умівють, что разрушать семейное счастье и заставлять плакать женщинъ, подметки которыхъ онъ не стоятъ. Что у меня есть обожатели, что она такихъ мерзостей не потерпитъ, и приказала мнъ убираться вонъ. За что? Я проглотила и эти слезы.

Должности лектрисы она съ тъхъ поръ боялась, какъ огня, и стала искать мъста гувернантки.

 Отличное мъсто, гдъ я должна была заниматься съ двумя дъвочками.

Прелестные люди. Но однажды за столомъ я почувствовала, что кто-то жметъ подъ столомъ мою ногу. Я взглянула напротивъ и увидала, что братъ моихъ ученицъ, шестнадцатилътній гимназистъ, знающій по именамъ всъхъ пъвицъ "Грандъ-Отеля", всъхъ скаковыхъ лошадей и всъхъ собакъ извъстнаго одесскаго охотника N, — что онъ смотритъ на меня масляными глазами. Затъмъ въ книгъ, которую онъ взялъ у меня почитать, я нашла отъ него записку на розовой бумагъ. И, наконецъ, придя играть съ сестрами, онъ обнялъ меня за талью и шепнулъ: "Когда же?" Я отправилась жаловаться его матери. Она сначала возмутилась за сына: "Не можетъ быть! Ваши мысли дурно направлены, mademoiselle!" Но когда я показала ей записку, она смутилась и сказала: "Хорошо, ступайте, я разберу это дъло!"

Черезъ часъ она пригласила меня къ себъ и сказала, подавая мнъ деньги:

— Простите, mademoiselle, но дольше мы держать васъ не можемъ. Ваня, оказывается, слишкомъ взрослый. Конечно, это наша вина, мы должны были бы подумать объ этомъ, когда брали въ домъ молодую дъвушку... Вотъ вамъ, въ виду этого, за мъсяцъ впередъ, дольше оставаться вамъ нельзя.

Я снова очутилась на улицъ.

На этотъ разъ страдалица,— вы мив позволите называть ее страдалицей, потому что на глазахъ ея во время разсказа блестятъ слезы обиды и горя, — на этотъ разъ страдалица ръшила бъжать "изъ этого проклятаго города" и съ восторгомъ схватилась за приглашение въ деревню:

— Отличное мъсто. Трое дътей... Но отецъ! Я не говорю уже о томъ, какъ страдали мои ноги подъ столомъ. Онъ всегда умълъ улучить минутку, чтобъ пожать мнъ локоть или незамътно поцъловать въ затылокъ. Онъ началъ являться въ дътскую и просиживать цълыми днями. А по вечерамъ я слышала тихій, осторожный стукъ въ дверь моей комнаты, которую изъ-за предосторожности запирала, словно была окружена разбойниками! О, это были ужасные дни! Къ тайнымъ приставаньямъ мужа примъшалась явная ревность жены. Онъ начиналъ у ъ злится, она

оъсилась. Однажды онъ ни съ того ни съ сего придрался, накричалъ на меня, она сдълала намъ обоимъ сцену. Приказали запрячь лошадь и отвезли меня на станцію.

Очутившись снова на одесской мостовой, она перепробовала, кажется, всё занятія, возможныя для женщины, всё, кром'є одного.

- Я поступила въ большой торговый домъ. Управляющій перевелъ меня въ комнату, поближе къ нему, спрашивалъ, что за охота мнѣ, такой хорошенькой, служить за 30 рублей въ мѣсяцъ. Предлагалъ билеты въ театръ. Одинъ резъ требовалъ, чтобы я непремѣнно выпила рюмку какого-то ликера. И, наконецъ, когда я однажды вошла въ кабинетъ, прося объяснить мнѣ что-то непонятное въ счетахъ, онъ взялъ меня за подбородокъ: "Ахъ, вы милое дитя, дитя!" и поцѣловалъ меня въ губы. Когда я крикнула на него и сказала, что буду жаловаться, я сдѣлалась плохой служащей. Все у меня было не въ порядкѣ, и въ концѣконцовъ я была уволена "за плохое поведеніе и небрежное отношеніе къ дѣламъ".
- Я поступила въ магазинъ. Хозяинъ однажды попросилъ меня прійти вечеромъ и подвести счета, и вдругъ ни съ того ни съ сего заговорилъ, что онъ чувствуетъ въ своей жизни пустоту, что они съ женой — только друзья, что въ 7 лътъ супружеской жизни всякая любовь гаснетъ и въ заключеніе предложилъ мнъ поъхать въ загородный ресторанъ, потому что у него голова болитъ и мнъ нужно освъжиться.
- Видя, что ничего не добьешься, я ръшила пойти на сцену. Тамъ, кажется, красота не составляетъ недостатка! Хоть тарелки выносить, хоть за 25 рублей слу-

жить, но ъсть свой честный кусокъ хлъба. Въдь могу же я оставаться честной. Пусть это будеть мой капризъ! — сказала она съ глазами полными слезъ, улыбаясь грустною улыбкой.

Но ея сценическая карьера кончилась такъ же скоро, какъ и всъ остальныя.

— Въ маленькомъ дачномъ театришкъ, гдъ я служила, мив не только не заплатили за первый же мвсяцъ, но даже разсмъялись, когда я заикнулась объ уплать: "Такая хорошенькая и хлопочеть о какихъ-то грошахъ!" У театра былъ меценатъ, богатый дачникъ, и антрепренеръ, - правда, конфузясь, - просилъ меня: 🖫 Право, поужинали бы съ нимъ. Онъ уже который разъ говоритъ мнъ. А то разсердится и отомститъ мнъ". И, ужъ не конфузясь, предложилъ мнъ поужинать съ нимъ самимъ. Съ нимъ! Съ этимъ жалкимъ антрепренеромъ, живущимъ на подачки! А что это было за несчастное существо! Неужели только потому. что женщина корошенькая, всякій Богомъ и судьбой обиженный человъкъ можетъ имъть на нее право? Мнъ дали рольку въ водевилъ, но зато режиссеръ меня спросиль: "Когда можно прійти къ вамъ... чтобъ пройти рольку?"... А когда я 'сказала, что никогда, оказалось, что я и безъ словъ-то на сцену не умъю выйти.

Я не буду утомлять вась разсказомъ.

Но, Боже, сколько оскорбленій! Если бъ вы знали, сколько оскорбленій!

Она сидъла передо мной, подавленная своимъ горемъ, заключающимся въ корошенькомъ личикъ.

— Что же мив двлать? Неужели облить себвлицо сврной кислотой, чтобы отыскать честный кусокъ хлвоа? Люди все прощають женщинв, кромв одного —

красоты. За красоту она должна заплатить паденіемъ Неужели это такъ?

И я сидълъ передъ ней, не зная, что сказать...

Вы, можетъ-быть, думаете, что это вымысель? Нътъ, я познакомиль васъ съ посътительницей, которая, дъйствительно, только что вышла изъ моей комнаты.

Она хочеть оставаться честной!

— Изъ упрямства! — какъ говоритъ она.

Черезъ два-три дня ей нечего будетъ всть.

У нея ничего нътъ, кромъ маленькаго револьвера, который она купила себъ, получивъ первое оскорбленіе. И она не продасть его, чтобы купить себъ кусокъ хлъба.

Неужели...

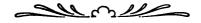
Неужели она должна будетъ покончить съ собой только изъ-за того, что она имъетъ несчастіе быть хорошенькой?

Неужели красота такое проклятіе для молодой честной, ищущей труда дъвушки? Такое горе?

— Xa-xa-xa! — расхохочется читатель. — Многія изъ вашихъ читательницъ захотъли бы испытать такое "горе!"

Tope!

Что дълать! Все можетъ превратиться въ горе для этого несчастнаго существа, которое называется человъкомъ.



Писательница.

ţ .

Писательница.

(Изъ воспоминаній редактора.)

— Васъ желаетъ видъть г-жа Маурина.

Ахъ, чортъ возьми! Маурина...

— Попросите подождать... Я одну секунду... одну **секунду**...

Я перемъниль визитку, поправиль передъ зеркаломъ галстукъ, прическу и вышелъ...

Върнъе-вылетълъ.

— Ради Самого Бога, простите, что я васъ заставилъ...

Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бъдно одътая. Все на ней висъло, щеки висъли, платье висъло.

Я смѣшался. Она тоже.

- Маурина.
- Виновать, вы, въроятно, матушка Анны Николаевны?

Она улыбнулась грустной улыбкой.

- Нътъ, я сама и есть Анна Николаевна Маурина. Авторъ помъщенныхъ у васъ разсказовъ...
- Но позвольте! Какъ же такъ? Я знаю Анну Ни-колаевну...

— Та? Брюнетка? Она никогда не была Анной Николаевной... Это... это обманъ. Не сердитесь на меня. Выслушайте...

Она была растеряна. На глазахъ стояли слезы.

- Вы позволите мнъ състь?
- **Ахъ**, конечно... Прошу... прошу... Простите, что я раньше...
- Нѣтъ, ничего! Ради Бога, не безпокойтесь... Позвольте мнѣ вамъ разсказать... Не сердитесь... Разсказы писала я... Вотъ, видите ли, мнѣ хотѣлось печататься... Не только для гонорара,—нѣтъ. Мнѣ казалось, что у меня есть, что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мнѣ хотѣлось писать. Я написала три разсказа и отнесла въ три редакціи. Можетъ-быть, это были недурные разсказы, можетъбыть, плохіе. Я не знаю... Они... они не были прочитаны. Одинъ изъ разсказовъ былъ и у васъ. Я приходила нѣсколько разъ, мнѣ говорили, что вы заняты, черезъ недѣлю"! Наконецъ, вашъ секретарь передалъ мнѣ разсказъ съ помѣткой "нѣтъ". Простите меня, но вы его не читали!
 - Сударыня, этого не можетъ...
- Этотъ разсказъ былъ потомъ напечатанъ у васъ же! отвътила она тихо и печально. Тогда мнъ въ голову пришла мысль... быть можетъ, очень нехорошая... быть можетъ, очень очень дурная... Я... Въ тъхъ же меблированныхъ комнатахъ жила молодая дъвушка, гувернантка безъ мъста, очень красивая... Та самая, которая приходила къ вамъ подъ именемъ Анны Николаевны Мауриной и... простите меня... талантомъ которой вы такъ заинтересовались. Она также сидъла безъ средствъ, и я предложила ей комбинацію

Я буду писать, а она-носить мои разсказы отъ своего имени... Вы знаете, портреть автора при сочиненіяхъ всегда интересуетъ... Особенно, когда такой портретъ! Я посмотръла на нее: роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, отъ которыхъ пышетъ молодостью и жизнью. Въ ней есть все, чтобы заинтересовались ея психологіей. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про васъ ни про вашихъ коллегъ! Ничего! Никъмъ не было сдълано ни одного слишкомъ сквернаго намека! Ни одного слишкомъ вольнаго слова! Но когда она отнесла разсказы по редакціямъ, ей отвътъ дали черезъ три дня. Только и всего! И всъ разсказы были приняты. Боже мой! Это такъ естественно! Молодая, очень красивая женщина пишетъ. Интересно знать, что думаеть такая красивая головка! Сначала въ особенности-разсказы бывали не совсемъ удачны, и нъкоторые гг. редакторы были такъ добры, что сами ихъ передълывали. И съ какой любовью! Вычеркивали, но какъ осторожно, съ какимъ сожалъньемъ: _Мнъ самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое". Она мнъ, обыкновенно, разсказывала всъ подробности своихъ визитовъ. Удивлялись: "Какъ вы, такая молоденькая, - и откуда вы все это знаете?" Простите меня, ради Бога! Это ваши слова. Но и другіе говорили то же самое. Изумлялись ея талантливости. "Откуда у васъ такія мысли?" Всякая мысль получаеть особую прелесть, если она родилась въ хорошенькой головкъ! Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма! Это придавало ей только интересъ. Ей и "ея" разсказамъ! Она всегда мнъ разсказывала все, что ей говорили. И мы, - простите меня,—много смъялись. Она очень весело, я не такъ... Но все-таки, смъйтесь надо мной,—отъ похвалъ у меня кружилась голова. Какъ замъчали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово! Наши дъла шли великолъпно. Мы зарабатывали рублей двъсти въ мъсяцъ. Сто я отдавала ей, сто брала себъ. И все шло отлично. Какъ вдругъ... На прошлой недълъ та Анна Николаевна поступила въ кафешантанъ.

- Въ кафешан...
- Въ кафешантанъ. Тамъ ей показалось веселъе, и предложили больше денегъ. Я умоляла ее не бросать литературы. Въдь мы были наканунъ славы. Еще полгода—мы стали бы зарабатывать 500—600 рублей въ мъсяцъ. У меня почти готовъ романъ. У нея бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла: "Тамъ веселъе!.." Что мнъ оставалось дълать! Взять на ея мъсто другую? Но это было бы невозможно: сегодня одна Маурина, завтра другая... Да и къ тому же... не сердитесь на меня... я думала, я надъялась, что мои труды, одобренные, печатавшіеся, даютъ ужъ мнъ право выступить съ открытымъ забраломъ... съ некрасивымъ лицомъ... Не гнъвитесь же на меня за маленькое разочарованіе.
- Я... я, право, не знаю... все это такъ странно.. Такая нелитературность пріема...

Она сдълала такой жесть, словно я собираюсь ее бить.

— Не говорите мнѣ! Не говорите! Я ужъ слышала это! Въ одной ужъ редакціи меня почти выгнали. "Нелитературный пріємъ! Расчетъ на какія-то постороннія соображенія! Это не принято въ литературѣ!.." И вотъ я пришла къ вамъ. Вы всегда такъ хорошо относи-

лись къ... моимъ разсказамъ. Вы такъ хвалили. Не откажите прочитать вотъ эту вещицу. Это въ томъ родъ, который вамъ у нея особенно нравился. Ей вы читали въ три дня. Мнъ можно зайти черезъ недълю?

- Помилуйте... зачъмъ же черезъ недълю... увъряю васъ... вы ошибаетесь...
 - Не сердитесь!
- Я прошу васъ зайти черезъ три дня. Черезъ три дня разсказъ будетъ прочитанъ!
 - Можетъ-быть, лучше черезъ...
- Сударыня, повторяю вамъ: че-резъ три дня раз-сказъ будетъ про-чи-танъ. Имъю честь кланяться!

Черезъ три дня я получилъ черезъ секретаря записку:

"Я говорила, что лучше черезъ недѣлю. Не сердитесь на меня, я зайду еще черезъ недѣлю. Уважающая васъ Маурина".

Такая досада, чортъ возьми! Непремънно надо было прочитать,—и забылъ!

Затъмъ... Я ужъ не помню, что именно случилось. Но что-то было. Осложненія на Дальнемъ Востокъ, затъмъ недородъ во внутреннихъ губерніяхъ — вообще событія, на которыя публицисту нельзя не откликнуться. Словомъ, былъ страшнымъ образомъ занятъ. Масса обязанностей. Положительное отсутствіе времени, При спъшной, лихорадочной газетной работъ... Потомъ разсказъ, въроятно, куда-то затерялся. Я не могъ его найти...

Недавно я встрътилъ въ одномъ новомъ журналъ подъ разсказомъ подпись Мауриной.

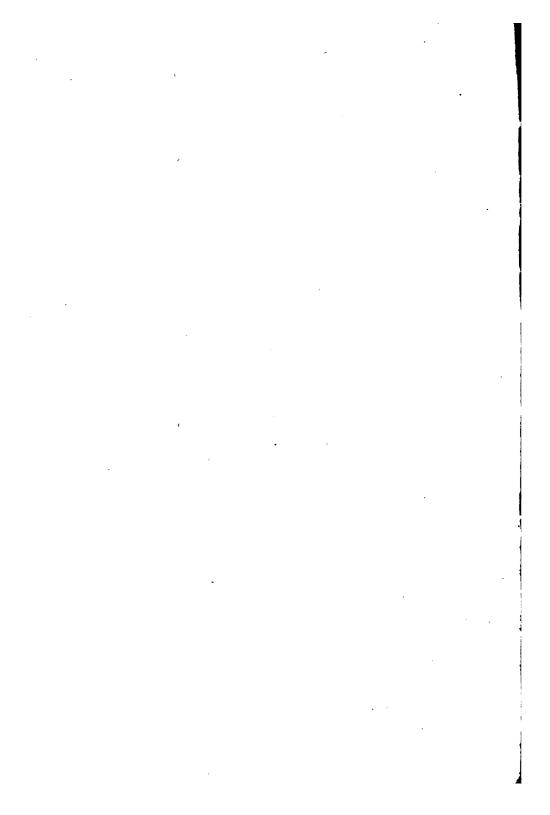
Вечеромъ я встрътился съ редакторомъ.

— Кстати, а у васъ Маурина пишетъ?

- А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенокъ?
- **—** Да?
- И премило пишеть, премило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты тамъ, отступленія. Приходится передълывать, перерабатывать. Но для такого талантливаго ребенка прямо не жаль. У насъ въ редакціи ее всъ любять. Прямо,—войдеть, словно лучь солнца заиграеть. Прелестная такая. Дътское личико. Чудная блондинка.
 - Ахъ, она блондинка?
 - Блондинка. А что?
 - Такъ... Ничего...



Петербургъ.



Петербургъ.

Это разсказывала миъ одна очень красивая актриса въ одну изъ тъхъ странныхъ минутъ откровенности, которыя иногда почему-то находятъ на женщинъ.

Просто привычка декольтироваться. Имъ иногда хочется декольтировать и свою душу.

— Je ne suis pas difficile. Вы знаете мое амплуа: grande coquette. Оно требуеть платьевь и брильянтовь. За таланть мий дали бы немного. А таланть моихъ портнихъ приходится оплачивать очень дорого. Къ тому же... Я могу думать о добродётели очень много,—больше даже, чёмъ другія,—но только до тёхъ поръ, пока я не вижу другой женщины въ хорошемъ платьё. Тогда я перестаю думать о добродётели и начинаю думать о платьё.

Когда я вхала въ Петербургъ, я отлично знала, что меня ожидаетъ и о чемъ я должна прежде всего позаботиться. Въ Петербургъ есть люди, мимо которыхъ трудно пройти молодой актрисъ. Театръ, это — зданіе, у входа въ которое стоитъ нъсколько свъжевыкрашенныхъ столбовъ. Мимо нихъ трудно пройти, не испачкавшись.

Въ первую же субботу въ циркъ я смотръла на этихъ господъ и думала только:

— Который?

Иксъ? Игрекъ? Дзэтъ?

Въ сущности они были для меня всъ безразличны. И я задавала себъ этотъ вопросъ безъ всякой муки. Не подумайте!

Просто изъ любопытства. Въдь это же касалось меня и, кажется, можно сказать, касалось довольно близко.

"Имъ" оказался Иксъ. Даже лучшій изъ нихъ! Съ большимъ вліяніемъ въ театрѣ, съ хорошимъ положеніемъ, съ отличными средствами.

Могъ быть полезенъ и для карьеры и въ смыслъ портнихъ.

Онъ попросилъ, его мнъ представили. Явился съ визитомъ, привезъ цвътовъ, потомъ конфетъ.

Собственно говоря, все было решено съ перваго момента.

Объ этомъ, конечно, не говорилось. Развѣ можно! Но это отлично понимали оба.

Онъ говорилъ, что онъ одинокъ и ему нужно существо, которое онъ бы любилъ. Это наполнитъ его жизнь. Говорилъ, что онъ не молодъ, "конечно, не мальчишка", но постояненъ и способенъ на глубокое чувство.

Я, улыбаясь, отвъчала:

— Вамъ ли говорить объ этомъ? Сколько женщинъ, я увърена, мечтаютъ...

Такъ мы торговались, говоря совсёмъ о другомъ. Онъ лавалъ понять:

"Не думай, матушка, я разорюсь ради тебя или надълаю глупостей. Нътъ! Но хорошее вознагражденіе ты получишь. И это ен нъчто мимолетное, а такъ, на годъ, на два!"

Я отвъчала взглядомъ:

"Что же ты медлишь, дурашка?"

Ему достаточно было, ну, какъ-нибудь подольше поцъловать мнъ руку—и я "упала бы въ его объятія":

- Я твоя!

И я думала:

— Поскоръй бы!

У зубного врача такъ просишь:

— Докторъ, вырвите зубъ, но поскоръй!

Очевидно, онъ не находилъ повода къ чему-нибудь. лишнему.

А я смотръла на него почти умоляюще.

— Да найди же, найди!

Отыграть эту роль въ глупой комедіи. Изобразить страсть. И начать посылать къ нему счета отъ портнихъ.

А онъ все говорилъ, все говорилъ и не давалъ мнъ, ну, повода, чтобъ сказать:

— Я твоя.

Престранный городъ вашъ Петербургъ.

Я спрашивала потомъ у другого, у молодого:

— Отчего вы, господа, все съ подходцемъ? Отчего не прямо?

Онъ улыбнулся, и очень самодовольно:

— Даже устрицу не глотають такъ, сразу. А сначала посмотрять на нее, потомъ осторожненько счистять бородку, потомъ любовно пожмуть надъ ней лимонъ, потомъ мягко поддънуть на вилку. А такъ, взялъ... Passez moi le mot, но это ужъ значить "сожрать", а не съъсть. Не съъсть со вкусомъ!

Жуиры говорять:

— Пулярка любить, чтобь ее хорошо съвли.

Ну, я, въроятно, плохая пулярка и предпочитала бы, чтобъ меня просто сожрали, съ костями, только сразу!

Терпъть не могу, когда надо мной давять лимонъ!!!

Итакъ, онъ продолжалъ вздить и говоритъ.

Однажды—это было въ сумеркахъ, когда и безътого становится грустно на душъ — онъ спросилъменя:

— Вы, навърно, никогда не бываете въ церкви, другъ мой?

Онъ всегда говорилъ со мной такимъ тономъ, добрымъ и ласковымъ, словно былъ мнъ крестнымъ отцомъ.

Я отвъчала:

— Когда умираетъ кто-нибудь изъ моихъ товарищей или выходитъ замужъ какая-нибудь изъ моихъ подругъ. Первое случается чаще, чъмъ второе!

Онъ вздохнулъ съ сожалъніемъ:

— Напрасно, напрасно! Тамъ хорошо. Хорошо въ церкви. Бога забывать не слъдуетъ. Вы, въроятно, и не креститесь даже никогда?

Я разсмъялась.

— Напротивъ! Часто, очень часто и очень много. Когда выхожу на сцену въ новой роли и трушу!

Голосъ его сталъ совсъмъ печальнымъ.

— Не слъдуетъ смъяться надъ этимъ! Не слъдуетъ! Хотя бы во имя вашего дътства. Вспомните ваше дътство.

Со мной не надо говорить о дътствъ. Въ немъ ничего ни хорошаго ни отраднаго. Но когда мнъ напо-

минають о моемъ дътствъ, у меня слезы подступають къ горлу.

Я чувствую себя такой маленькой, страдающей, безпомощной.

Не надо говорить со мной о дътствъ! Не надо! Мы, кокотки, всъ сплошь сентиментальны.

А онъ продолжалъ:

- Вспомните ваше дътство, когда вы, маленькая, въ кроваткъ, сложивъ ручонки, молились "Боженькъ". Молились со слезами. Развъ не легче вамъ тогда было? Я готова была разрыдаться.
- Вы и образка, въроятно, не носите на шеъ? Глотая слезы, я постаралась обратить все въ шутку:
- При моей профессіи! Я должна ходить декольтированной!

А онъ продолжалъ печальнымъ голосомъ, полнымъ сожалънія:

— Не тогда, когда вы занимаетесь вашей профессіей, а тогда, когда вы дома, одна, когда вы спите... Хотите, я привезу вамъ образокъ?

Ему это нравится!

— Пожалуй!

Онъ оставилъ меня разстроенной, взволнованной, несчастной.

Я заплакала, -- не знаю, о чемъ.

На слъдующій день онъ прівхаль ко мив и смотръль на меня, какъ на ребенка, еще мягче, еще ласковъе.

— А я привезъ вамъ образокъ. Освященный.

Онъ вынулъ изъ коробочки золотой образокъ на тоненькой цёпочкъ.

Перекрестился и поцъловалъ его самъ.

Перекрестилъ меня.

— Перекреститесь и поцълуйте, другь мой.

У меня не въ порядкъ спинной мозгъ. Отъ этого я черезчуръ впечатлительна.

Я не знаю, что было со мной. У меня были холодныя руки и ноги. Я хотъла рыдать, плакать, я хотъла упасть на колъни.

Миъ было страшно надъть на себя образокъ.

 Дайте, мой другь, это сдълаю я, я самъ. Я самъ надъну на васъ.

Онъ дрожащими руками началъ разстегивать мой капотъ.

Я задрожала вся, когда холодная цъпочка дотронулась до моей шеи.

А онъ разстегивалъ дальше и дальше.

— Вотъ такъ. Вотъ такъ.

Онъ словно игралъ на роялъ. Его холодные пальцы дрожали и прыгали по моему тълу.

Я съ ужасомъ ждала прикосновенія образка.

— Какая грудка!

И вдругъ на томъ мъстъ, гдъ долженъ былъ холодный образокъ коснуться груди, я почувствовала что-то мокрое, трясущееся.

Его губы.

Словно жабу, осклизлую и мокрую, положили мнъ ` на грудь.

Я закричала не своимъ голосомъ и толкнула его такъ, что онъ полетълъ, чуть-чуть не ударился головой о косякъ стола, упалъ въ углу, около этажерки.

Я кричала, схватившись за голову:

— Уйдите, уйдите отъ меня! Не подходите, не подходите!

Онъ сидълъ на полу, блъдный, съ отвислой челюстью, старый, испуганный, дрожащій отъ желанія.

Онъ былъ отвратителенъ и страшенъ мив.

Я боялась за себя, за молодую, за сильную, что я съ нимъ что-нибудь сдълаю.

Я кричала ему:

— Вонъ... вонъ... уйдите сейчасъ!..

Если бы меня изнасиловалъ пьяный бродяга, мнъ было бы легче, чъмъ это...

Такъ все и разстроилось.

Вмъсто человъка "съ тонкой организаціей" я досталась купцу.

Онъ... Вы знаете, какъ купцы *****вдятъ устрицъ? Сковырнулъ вилкой, проглотилъ.

— Э-э, чортъ! Лимону позабылъ пожать. Ладно, надъ слъдующей пожму!

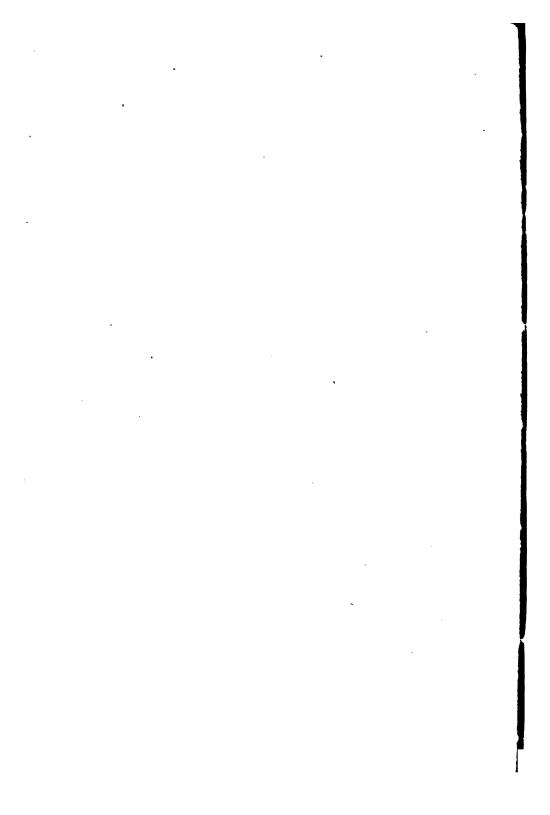
Просто, а тутъ...

Зачъмъ до души надо дотрогиваться трясущимися руками? Въдь есть тъло, и хорошее тъло!..

И она почти крикнула миъ:

— Зажгите лампу! Скоръй! Скоръй! Мнъ страшно! Я боюсь, что и вы... начнете говорить о возвышенныхъ предметахъ!





ВСТРЪЧА.

٠ .

Встрвча.

Было поздно.

Даже безпутный Монмартръ заснулъ. Гарсоны въ длинныхъ бълокурыхъ парикахъ, одътые ангелами, заперли "Cabaret du ciel". Надъ "кабачкомъ смерти" погасили зеленый фонарь, превращавшій проходящихъ мимо въ мертвецовъ. Погасли красные огни "Moulin".

Только въ "Rat mort" "Cyrano", "Place Blanche" за спущенными шторами свътился огонь. Оттуда слышались шумъ, смъхъ, визгъ скрипки.

Въ верхнемъ залъ "Place Blanche" было шумно и тъсно. Выли, ныли, стонали, визжали скрипки цыганъ. Смъхъ, звонъ посуды, взвизгиванья. Пахло eau de Lulin, сигарами, кухней, потомъ, тъломъ, виномъ. Женщины съ усталыми лицами, ихъ сутенеры — всъ, кто работаетъ ночью.

Я спросилъ себъ шампанскаго "extra dry", а потому сидъвшая вблизи женщина въ яркомъ платьъ, огромной шляпъ съ колоссальными перьями обратилась ко мнъ съ нъсколькими словами по-англійски.

Я отвътилъ, что не англичанинъ.

Тогда ко мнъ обратилась по-нъмецки толстая, огромная, старая нъмка, въроятно забытая пруссаками въ 71-мъ году.

Я сказалъ, что и не нъмецъ.

- Онъ русскій! воскликнула сидъвшая неподалеку француженка и обратилась ко мнъ по-русски:— Ты русскій? Правда?
 - Ты говоришь по-русски?
 - Oro!

И она "загнула" по-русски нъсколько такихъ фразочекъ, что я только ротъ разинулъ.

- Правда хорошо?
- Экъ тебя обучили!
- Я была гувернанткой.
- Ну да, я была въ Россіи гувернанткой, обратилась она къ другимъ женщинамъ, и воспитывала ихъ дътей!

Всв расхохотались.

Это становилось интереснымъ.

- · Хочешь присъсть? Хочешь стаканъ вина?
- Я бы что-нибудь съвла!—сказала она небрежно, присаживаясь къ столу. Гарсонъ, что у васъ есть?

 Но когда она читала карточку, руки ея дрожали.

но когда она читала карточку, руки ея дрожали Она была очень голодна.

Это была женщина въ яркомъ, очень дешевомъ платъв, которое въ первую минуту казалось очень шикарнымъ. Въ боа изъ перьевъ, которыя въ первый моментъ казались страусовыми. Въ огромной шляпъ, которая на первый взглядъ казалась совершенно новой.

Гримировка вмъсто лица. Краски превращали этотъ черепъ, обтянутый кожей, въ головку хорошенькой женщины. А ярко-красныя губы, губы вампира, давали объщанія, которыхъ не могла сдержать эта усталая актриса. Жизнь дала ей такую роль—играть красивую, молодую, непремънно свъжую женщину.

Сколько ей могло быть лътъ?

He все ли мнъ равно, въдь я не собирался ею увлекаться.

Она это замътила и строго сказала:

- Quand même, tu dois être gentil avec ta petite femme mon coucou! Ты студентъ?
 - Нътъ, я не студентъ. Почему ты думаешь?
- У насъ студенты очень любять ходить, гдъ есть много женщинъ, и сидъть вотъ такъ, какъ ты... Гамлетомъ!

Она чувствовала легкое опьявъніе отъ ъды, какъ чувствують его очень проголодавшіеся люди.

А принявшись теперь за шампанское, пьянъла сильнъе и сильнъе.

— Это презабавный народь — русскіе! — воскликнула она, показывая на меня и обращаясь къ окружающимъ. — Они не хуже и не лучше другихъ. Такія же свиньи, какъ и всъ. Но никто столько не раскаивается! Они всегда раскаиваются! Ихъ любимое занятіе. Напиваются пьяны и плачутъ, бьютъ себя въ грудь, а потомъ другихъ по головъ. И самое любимое ихъ слово — "подлецъ". "Я подлецъ, и ты подлецъ, и всъ мы подлецы! Это у нихъ обязательно. Безъ этого они не считаютъ себя "порядочными людьми". Очень весело сидъть въ такой компаніи!

Всъ захохотали. Многіе придвинулись ближе.

— Развѣ это не правда? Никто столько не кается! Вы знаете, о чемъ они говорятъ съ женщиной? Самый любимый вопросъ: какъ ты дошла до этого... У нихъ даже есть стихи такіе любимые.

И она продекламировала съ паеосомъ:

— "Какъ дошля ти до жисни такой?" Это всегда всякій говоритъ: "Ахъ, ты бъдная, бъдная!" А самърукой.

Настроеніе кругомъ становилось все веселье и веселье.

- Ah, ils sont drôles, les russes!
- Я знаю отлично Россію! Отъ самыхъ лучшихъ семействъ... Ты знаешь, не кто-нибудь. Самыя лучшія фамиліи. Ты русскій, ты долженъ знать.

И она принялась сыпать громкими фамиліями.

— И кончая домомъ...

Она назвала и этотъ домъ.

— Меня взяли бонной въ Россію изъ одного монастыря на avenue Malacoff. Оттуда куда-нибудь не пустять! Я росла у сестерь на avenue Malacoff, за высокимъ заборомъ, въ домъ, стъны котораго отдъланы изразцами съ изображеніями святыхъ, и съ садомъ съ бледными, чахлыми деревьями, которыя словно тоже были всв женщинами и дали обътъ монашества. Такія они были унылыя! Меня отдали въ бонны къ русской дамъ изъ отличнъйшей фамиліи. Отличнъйшая фамилія и отличнъйшіе друзья, разоренное имънье,какъ это у нихъ у всвять, - и шесть человекъ детей! Ахъ, эти русскіе! Они совсьмъ не знають воздержанія! И шикари плодять нищихь съ замашками шикарей. Нигдъ нътъ столько аристократіи, какъ въ Россіи, и даже въ метръ д'отеляхъ кафе шантановъ встръчаются люди съ громчайшими фамиліями! Настоящее перепроизводство. Они расточители во всемъ. Когда у насъ мало средствъ, мы живемъ одинъ день въ недълю, а шесть копимъ и отказываемъ себъ во всемъ. А они хотять принимать, выбажать, блистать каждый день. И каждое новое платье madame стоило сотни заплатокъ на штанахъ и носкахъ дътей. Бълье мы чинили и ставили рубецъ на заплату, заплату на рубецъ, а madame по утрамъ рыдала, а вечеромъ надъвала новое платье и ъхала. Мопяецт по утрамъ рвалъ на себъ волосы, а вечеромъ угощалъ гостей двухрублевыми сигарами. Это шесть франковъ.

Всъ кругомъ воскликнули и съ удивленіемъ и съ порицаніемъ:

- A-a! 0-o!
- Нищета, разореніе, покрытыя сверху шелкомъ, который взяли въ кредитъ, и кружевами, которыя достали чуть не мошенническимъ образомъ. Настоящіе азіаты, дикари, у которыхъ шатры покрыты дорогими коврами и которые спять въ этихъ шатрахъ на голой землъ въ лужъ грязи. А, въ нихъ много Азіи! Вся нищета была на мнъ. Шесть человъкъ дътей! Одъвать, раздъвать, умывать, причесывать, гулять съ ними, играть, каждую минуту приводить въ порядокъ, а по вечерамъ еще штопать чулки и класть заплаты. Русскіе воспитались на кръпостномъ правъ, и никто такъ не умъетъ устраивать кръпостного права, какъ они. Служащаго нътъ, -его сейчасъ же дълаютъ кръпостнымъ. Онъ и не замътитъ! У насъ есть и работа, очень тяжелая, но есть и отдыхъ. У русскихъ отдыха нътъ, это называется "ничего не дълать". — "Mademoiselle, вы ничего не дълаете-сдълайте то-то". И вы не можете отвътить: "Какъ я ничего не дълаю? Я отдыхаю". Это примуть за шутку. Сегодня вы штопаете чулки дътямъ просто изъ жалости, завтра-изъ любезности, послъ завтра madame уже кричить: "Mademoiselle, что жъ

это у дътей не заштопаны чулки!" Имъ нельзя оказать любезности, — черезъ два дня это станетъ вашей обязанностью. Сегодня - любезность, завтра - привычка, послъ завтра — обязанность. И въ концъ-концовъ на васъ навалять столько обязанностей, что вы никогда не будете принадлежать себъ. Васъ сдълаютъ кръпостной. О, этотъ народъ кръпостного права! Мнъ приходилось работать по 18 часовъ въ сутки. Штопанье дътскаго, даже починки для madame! Благодарю покорно. J'en ai plein le dos! Въ одинъ прекрасный день я переколотила всехъ детей, всехъ этихъ маленькихъ нищихъ, которые — они въдь голубой крови! -- кидали мнъ въ лицо свое бълье: "Я пожалуюсь татап, вы опять дали мнв рваную рубашку!" Да другихъ-то и не было, будущіе обитатели остроговъ! Я наговорила дерзостей madame. Чтобы сдълать больше непріятностей въ дом'в, я навизжала, что monsieur хочеть что-то со мной сдълать. Въ хорошенькомъ положень в оставляла домъ! Всв реввли, всв катались въ истерикъ, всъ хватались за головы. Кушайте! И часа больше не осталась, - ушла! А, эти мъста "бонны въ домъ"! Я ихъ знаю! Я ихъ перемънила восемь въ теченіе года! Мъста! Гдъ хозяинъ дома не можетъ васъ видъть безъ того, чтобы у него не задрожали углы губъ и въ глазахъ не запрыгали черти! Гдъ старшій сынъ является вдругь въ вашу комнату въ 11 часовъ вечера, садится къ вамъ на кровать и спрашиваеть: "Mademoiselle, какъ перевести по-французски эту фразу?" А у самого голосъ дрожить! Мъста, гдъ старъющая, блекнущая, ссыхающаяся или расползающаяся, какъ желе, madame смотритъ на васъ злыми глазами и старается васъ коль-

нуть побольнее, по-женски. Где молодая девушка не можеть надъть бантика. Гдъ каждый вашь бантикъ оказывается "верхомъ безобразія". "Что это вы за гадость еще нацъпили? Фи! Снимите! Вамъ это не идетъ! Какъ это, - удивляюсь: француженка, и совсъмъ, совсъмъ не умъете одъваться!" Ваши духи, о маленькомъ флаконъ которыхъ вы такъ мечтали и которые, наконецъ, купили, - всегда отбиваютъ аппетитъ у madame, оказываются отвратительными, заставляють ее морщить носъ: "Чъмъ это вы? Что это такое?" Дома, гдв на васъ смотрять, какъ на склянку съ ядомъ, котораго, боятся, не хлебнулъ бы мужъ или сынъ. И вы знаете, русскіе еще требують, чтобы гувернантки, бонны любили домъ, гдф служатъ, дфтей, хозяевъ, вещи, - кажется, самыя ствны! Какъ же! "Что это за гувернантка, что это за бонна! Она знаетъ только свое дёло, а любви къ дому у нея никакой нътъ!" Хуже такой аттестаціи у нихъ ничего нътъ. Любви! Да я не знаю, до какого нравственнаго паденія надо дойти, чтобы еще любить ту руку, которая васъ бьеть по щекамъ. Если въ ней есть хоть чуточка нравственной порядочности, хоть капелька человъческаго достоинства, если это не безнадежно нравственно падшее существо, -- она должна ненавидъть хозяевъ, ихъ домъ, ихъ дътей. Это все, что остается ея человъческому достоинству. И единственное нравственное удовлетвореніе получаеть человінь, служащій вь русскихъ домахъ, только тогда, когда онъ уходитъ! Тутъто напъть имъ, какъ слъдуетъ! Ахъ, я это ужасно любила. Быть-можеть даже, я чаще мъняла мъста потому, что никакъ не могла дождаться этого удовольствія! Словомъ, перемінивъ девять мість, я нашла,

что мъсто "бонны въ домъ" совсъмъ не по мнъ, и стала публиковать въ газетъ, что ищу "demi-place". Я хотъла хоть засыпать и просыпаться у себя. Хоть минуту быть "дома", одной, не видъть противныхъ мнъ рожъ. "Все же я меньше буду ихъ ненавидъть". Мнъ становилось страшно, до чего я начинала ненавидъть русскихъ дътей, изъ которыхъ выйдутъ такіе же воть, какъ ихъ отцы! Les demi-places! Сколько я ихъ перемънила. Бъгать изъ одного конца города въ другой: тамъ "гулять съ дътьми" 2 часа въ день-8 рублей въ мъсяцъ, здъсь "играть съ дътьми" три часа въ день — 7 рублей въ мъсяцъ. Въ концъ-концовъ квартирная хозяйка, которая не даетъ даже всего, что обязана, потому что ей всегда не въ срокъ заплачено, и со страхомъ, съ отчаяніемъ разглядыванье своихъ ботинокъ по вечерамъ. Онъ лопаются! Ложиться спать съ голоднымъ желудкомъ й плакать, глядя въ маленькое зеркальце: щеки желтъють, лицо худъетъ, старъетъ, вокругъ глазъ темные круги. Или мъсто съ завтракомъ и объдомъ, съ самыми худшими кусками за завтракомъ и объдомъ. Весь день дътьми, — и 15—20 рублей въ мъсяцъ. Только-только заплатить за квартиру и прачкв. А отъ васъ требують, чтобы вы были даже "мило" одъты: "У насъ бываютъ люди!" На что толкаютъ эти порядочные люди молодую дъвушку, которая имъла несчастье попасть въ ихъ домъ? Какимъ трудомъ должна заниматься дъвушка съ 9 часовъ вечера до 10 утра, чтобъ быть "одътой"? Развъ онъ не толкають, какъ толкаеть меня теперь мой Поль, и не говорять: "Достань! Я не могу показываться съ тобой въ плохомъ костюмъ!" Да, но въ такомъ случав оставьте мив мон рабочіе часы! А то

говорять: "Mademoiselle, у насъ сегодня гости, вы поможете по хозяйству. Останьтесь вечеромъ. Вы разольете гостямъ чай!" И еще вздыхають, добрые люди: "Ахъ, бъдной дъвушкъ все-таки развлеченье! Посмотрить, какъ танцують". А эти гости! Воть еще типы! Люди, которые подобрають къ вамъ, беруть чай и поворачивають спины всегда прежде, чъмъ сказать: "тегсі". Сначала отвернется, а потомъ ужъ вспомнитъ сказать. Нътъ ничего хуже "въжливости" русскихъ. А здъсь они не просять, а умоляють кучера: "Je vous en prie, monsieur le cocher, s'il vous plaît". A тамъ! Дома они хамы, а потому за границей обжираются въжливостью. Это для нихъ диковинное блюдо. И замътьте, mesdames, чъмъ больше ползаетъ у вашихъ ногъ здъсь русскій, тэмъ, значить, онъ тамъ, дома, важнье, грубъе, наглъе, любитъ накричать, разнести, --, ррраспюшить", какъ они говорять.

— Ils sont très, très polis, les polissons russes, avec les p'tites femmes! — раздались восклицанія кругомъ. — Ah, c'est vrai!

И сидъвшія кругомъ женщины принялись вспоминать важныхъ и солидныхъ русскихъ и разсказывать про различныя "интимности", въ которыя тъ пускались.

Становилось немножко тошно.

— Ахъ, свинья! Ахъ, свинья! — восклицали женщины съ хохотомъ.

А моя разсказчица задумалась, какъ будто вспоминая что-то трудное, наконецъ, очевидно, вспомнила во всъхъ подробностяхъ, расхохоталась на весь залъ и воскликнула:

— Ну, настоящія свиньи!

И продолжала, когда хохотъ и воспоминанія утихли: — A тъ гости, которые разговаривають съ mademoiselle, разливающей чай: "Такая хорошенькая, и вдругь въ гувернанткахъ! Почему вы не пойдете въ оперетку? Вы, должно-быть, прелестно сложены! Вы рождены совствить не для того! "Нечего сказать, хорошія вещи говорятся въ этихъ, такъ называемыхъ, "порядочныхъ домахъ". И это всъ: и старые и молодые. Изъ поколвнія въ поколвніе растеть, умираеть, валится, гніеть и снова вырастаеть та же мерзость! И я ненавидела этихъ дътей, изъ которыхъ растетъ все то же, все то же. Эти молодые побъги кропивы и бурьяна. "Будемъ искать мъста компаньонки или лектрисы!" сказала я себъ. А вы знаете, что значить искать мъсто компаньонки или лектрисы въ Россіи! Право, они какіе-то тамъ помъщанные! Они только объ одномъ и думаютъ! Въ тотъ же день, какъ вы печатаете такое объявленіе, вы получаете 20 писемъ. Я была честная дъвушка, и отъ предложеній, которыя мнъ дълались, я бъжала, чувствуя, что у меня подкашиваются ноги, боясь, что меня вотъ-вотъ схватятъ. Наконецъ, старикъ. Старикъ, не встающій съ кресла. Разбитый параличомъ, умирающій, одинокій, тоскующій одинъ въ своемъ креслъ, всъми забытый, -- одинъ предъ лицомъ подступающей смерти. "Вы мнъ, старику, будете читать, дитя мое, -- сказалъ онъ, -- и время не будетъ тянуться такъ ужасно". И въ первый же день далъ мнъ книгу, читая которую покраснълъ бы пожарный: "Прочтите мнъ вслухъ!" О, эти русскіе! У нихъ на три четверти татарская кровь течеть въ жилахъ. Плохо даже нарисованной женской ноги они не могутъ видъть безъ того, чтобъ въ ихъ татарской крови не проснулось

инстинктовъ. Тогда какъ мы ко многому такому относимся просто съ веселымъ смъхомъ. Но я чувствовала смущеніе, когда читала вслухъ такія вещи. "Чего жъ вы красивете? Чего вы красивете? - останавливаль меня старикъ. - А, вы понимаете, въ чемъ дъло?" Это его забавляло, это ему доставляло удовольствіе. Онъ иногда прерываль меня на такихъ мъстахъ, гдъ слезы душили мнъ горло, и я чувствовала, что все во мнъ оскорблено. "А вы знаете, дитя мое, что это?" И онъ принимался объяснять пространно, подробно, -- и когда я выскакивала почти въ испугъ, онъ тянулся достать мою руку: "Что съ вами, дитя мое? Что съ вами?... Что?.. Что?.. Что?.. И никогда онъ не быль больше похожъ на мертвеца, мнъ казалось, что онъ разлагается въ эти минуты. Никогда онъ не былъ такъ близокъ къ смерти. Я боялась, вотъ-вотъ захлебнется слюнями, вотъ-вотъ задохнется, у него разорвется сердце. Я чувствовала ужасъ, слышала трупный запахъ. Я не помню, какъ выбъжала во время одного такого припадка Я закричала горничной: "Онъ умираетъ! Онъ умираетъ!" Я бъжала съ лъстницы, словно меня догоняль покойникъ. "Мъсто у дамы! Мъсто у дамы!" мечтала я. И попала къ почтеннъйшей дамъ, отличнъйшей фамиліи, одинокой, старой, патронессъ, спириткъ, состоявшей въ какихъ-то необыкновенно благочестивыхъ обществахъ. У нея въ домъ было такъ тихо, что даже залетавшая случайно муха, и та переставала жужжать, испуганная тишиной. Иногда въ огромныхъ комнатахъ что-то стукало, гдф-нибудь скриивлъ или трескался какъ зеркало натертый паркетъ,и старуха говорила тихо и прислушиваясь: "Это духи". Мнъ хотълось въ такія минуты кричать отъ страха.

Она заставляла меня читать ей благочестивыя книги, требовала, чтобы я ходила вся въ черномъ, дълала выговоры: "Что это у васъ глаза какъ блестять сегодня. дитя мое? Что это вы краснье, чъмъ всегда?"и цъльми часами увъщавала меня: "Молитесь, умоляйте Господа, за гръхи умоляйте". Умолять милаго, добраго Бога, Который съ улыбкой смотрить на насъ, маленькихъ людей, какъ мы здёсь карабкаемся,--и береть насъ къ Себъ, когда мы устаемъ, — умолять Его мнь, когда я знаю, что и гръховъ-то у меня нътъ,какое кощунство! Мнъ было противно это лицемъріе, которое заставляеть во всемъ видъть только мерзость и гадость, которое заставляетъ подозръвать гнусные гръхи и преступленія въ честной дъвушкъ, видъть гнусность въ румянцъ, гръхи въ блескъ юныхъ глазъ. Я бросила эту мерзкую, съ грязнымъ воображеніемъ старуху. Пусть спасается одна! Воть бы ее поженить съ предыдущимъ старикомъ! И я, право, не знаю, какъ это случилось. Ханжество ли меня толкнуло въ другую сторону, старикъ ли своими грязными разговорами пробудиль во мив дремавшую чувственность, возрасть ли требовалъ,--но только я сама не помню, какъ отвъчала поцълуемъ на поцълуй пожилого вдовца, моего новаго хозяина, поцълуемъ на поцълуй, когда мнъ хотьлось въ эту минуту искусать его противное, налившееся кровью лицо. Это былъ вдовецъ, къ которому я поступила гувернанткою дочери. Я забеременъла. Онъ нанялъ мнъ маленькую квартирку и ъздилъ каждый день. "Это интересно!" говориль онъ. Ахъ, татары! Вы говорите, что французы испорчены. Но это маленькія шалости въ сравненіи съ татарскимъ необузданнымъ развратомъ, который живетъ у васъ въ крови. Когда я родила, мнѣ дали 100 рублей и сказали, чтобы я убиралась, куда угодно. "Ну, нѣтъ, такъ съ матерями не поступаютъ!" сказала я, подкараулила моего вдовца и плеснула ему въ лицо сѣрной кислотой. Въ лицо не попала, немножко обожгла шею и воротничокъ,—но и за это мнѣ предложили убраться изъ города!

- Mais non! Qu'est ce qu'elle parle!
- Она болтаетъ глупости. Какъ? Мать?—закричали кругомъ.

Онъ слушали со смъхомъ, какъ обольщали честную дъвушку, но когда дъло зашло о поступкъ надъ матерью, у нихъ вырвался крикъ, крикъ изъ сердца.

— Ну, да! Ну, да! Мнъ предложили убраться изъ города! Чего вы кричите, mesdames! Предложили, потому что это быль солидный, извёстный въ городъ человъкъ, пользовавшійся общимъ уваженіемъ! Потому что оказалось, что я шантажистка! Что я желаю сорвать денегь на неизвъстно отъ кого прижитаго ребенка! Мнъ предложили убраться изъ города, -- да еще пояснили, что мнъ дълають благодъяніе. Могли бы отдать подъ судъ. Я требовала суда. Мнъ отвъчали: "Еще бы, вамъ этого-то и нужно! Вы скандаломъ и грозите! Въ концъ-концовъ, меня убъждали, что мнъ дълаютъ доброе дъло. Во всъхъ странахъ дълаются несправедливости, но нигдъ при этомъ столько не смъются, сколько у васъ! Я должна была ъхать въ другой городъ и тамъ попала въ "домъ", потому что хозяинъ дома заплатилъ за меня долгъ въ гостиницъ. Кажется, самъ хозяинъ гостиницы мнв все это и устроилъ, - конечно, не лично, - о, это вполнъ респектабельный господинь! Пользующійся большимь уваженіемь!

Но черезъ своихъ служащихъ, - въдь не терять же ему квартирныя деньги. Если будешь терять квартирныя деньги, потеряешь въ концъ-концовъ и респектабельность и уваженіе! Если прежде я знала только, какъ вы дълаете гадости, то на новомъ мъстъ я видъла достаточно, какъ вы каетесь. Странное мъсто для покаяній, -- но это такъ! Трактиръ, кабакъ позорный домъ, это мъста, куда вы вздите больше для души", чвмъ для твла. Вы напиваетесь, въ пьяномъ видъ дълаетесь Гамлетами, рыдаете, бъете себя кулаками въ грудь и каетесь. Удивительная страна покаяній! Вамъ нужно залъзть въ грязь по уши и ревъть. Вы называете это "совъстью", я называю алкоголизмомъ. Въ концъ-концовъ этотъ домъ, а въ особенности эти кающіеся пьяные, у которыхъ жесты удивительно расходились со словами, мнъ ужасно надоъли. Мнъ надобло разсказывать три раза въ вечеръ, какъ дошла я до жизни такой, - и когда одинъ кающійся художникъ предложилъ мнъ пойти къ нему, я пошла съ наслажденіемъ. Это быль славный малый и большой пьяница. Шлаковъ. Вы не слыхали о такомъ художникъ?

- Нътъ.
- О немъ никто не слыхалъ. Въ этомъ и было его несчастье. Неудачникъ, рисовалъ онъ прескверно, а потому считалъ себя жертвой интригъ. Онъ работалъ въ какомъ-то иллюстрированномъ журналъ, гдъ надъ его рисунками издъвались. Поэтому онъ всегда, когда получалъ деньги, напивался пьянъ. Художниковъ онъ всъхъ считалъ "подлецами", начиная съ Рафаэля. Съ Рафаэлемъ у него были личности. Стоило упомянуть при немъ о Рафаэлъ, какъ онъ выходилъ

изъ себя, шипълъ, хрипълъ, стучалъ кулакомъ по столу: "Рафаэлишка! Подлецъ! Подлипало! Безмозглая дрянь! Бездарность! Шарлатанъ! Папъ племянникомъ приходился, потому и карьеру сдълалъ". Въ пьяномъ видъ онъ быль величественъ. Садился развалясь, приказываль зажечь передъ нимъ свъчи, а мнъ на колъняхь стоять и въ ноги кланяться. "Ты съ къмъ, дрянь, живешь?-кричаль.-Со Шлаковымъ живешь! Да знаешь ли ты, тварь, что Шлакову памятники будуть ставить? Шлаковскіе рисунки будуть дороже всъхъ ихъ холстовъ стоить! Шлаковъ карандашный набросокъ сдълаетъ, --искусство! И ты съ нимъ живешь! Ты съ нимъ живешь! А? Откуда тебя Шлаковъ вытащиль? Изъ грязи тебя Шлаковъ вытащиль! Безсмертье тебъ даруетъ. О тебъ, какъ о Фарнаринкъ подлой Рафаэлевской, пока міръ стоить, вспоминать будуть! Со Шлаковымъ именемъ ты связана, тварь! Кланяйся, дрянь, Шлакову въ ноги! Цёлуй мои руки! Обливай ихъ слезами благодарности! Великъ Шлаковъ! Что эта рука дълаетъ?" А я должна отвъчать: "Рисуеть!"--"А что съ ней за это сдълать нужно?" А я должна отвъчать: "Цъловать ее надо!" А онъ говорить: "Врешь, дура! Отрубить эту руку нужно, чтобъ не рисовала. Потому что никто не понимаетъ. Непонятенъ имъ Шлаковъ!" Да меня кулакомъ по головъ, а самъ въ слезы. Такъ и терпъла, -- ъсть нужно. Пока Шлакова разъ домой съ разбитой головой изъ пивной не принесли. Черезъ два дня и померъ.

- Mais comment donc!—раздались недовольные голоса.—Да за что же его?
- A за то, что подошель къ чужому столу. У нихъ, у русскихъ, это такъ. Я въ своихъ скитаніяхъ

и въ загородномъ ресторанъ у нихъ пъвицей была и ихъ нравы знаю. У нихъ особое право-право своего стола"-есть. Подходить человъкь къ чужому столу, его сейчасъ за это начинаютъ бить по головъ бутылками. "Зачъмъ къ чужому столу подходишь? Мы сидимъ у своего стола". И всв съ этимъ согласны: "Совершенно върно, они сидъли у своего стола, а онъ подошель къ чужому столу, его и надо бутылками по головъ!" Ils sont drôles, les russes, --savez vous. Съ удовольствіемъ бы къ нимъ провхалась, чтобъ посмъяться. Мой Шлаковъ сидъль въ пивной пьяный А за сосъднимъ столомъ какая-то компанія сидъла, пиво пила и иллюстрированные журналы смотръла. Шлаковъ и не вытерпълъ. Подошелъ: "Господа! Что вы дълаете? Остановитесь, ради Бога! Что вы смотрите! Вы вотъ что смотрите! Вотъ это рисунокъ. Это-Шлаковъ". А они его за это по головъ бутылками били, пока кровь не пошла. Черепъ въ трехъ мъстахъ быль проломлень. Такъ Шлаковъ и умеръ. Mazette! Осталась я босикомъ среди улицы. Тутъ было все! Наконецъ охватила меня тоска по Парижу. Въ Парижъ! Въ Парижъ! Я купца обокрала и въ Парижъ.

Всв захохотали.

- Какъ купца? А въ тюрьму?
- Отъ тюрьмы меня голый человъкъ спасъ. Жила я въ меблированныхъ комнатахъ. О, были меблированныя комнати! Мое почтенье! Женщины, сутенеры,—и черезъ стънку отъ меня голый человъкъ жилъ. Просто молодой человъкъ. Не могъ найти себъ мъста. И до того издержался, что ему выйти не въ чъмъ было. Такъ дома и сидълъ и все арію Мефистофеля о золотомъ тельцъ пълъ. За это его "голымъ человъкомъ"

и звали. Стънка была тоненькая, все слышно. Привезла я къ себъ купца пьянаго, да пока онъ вздремнулъ, денегъ изъ бумажника и вынула. Но русскій купецъ, когда пьянъ, онъ все-таки чувствуетъ, если до его бумажника дотрогиваются. Хотя бы бумажникъ лежаль въ другомъ концъ комнаты. Деньги я успъла спрятать, но купецъ вскочиль. "Ты что это? Воровать?" И началь меня купець мучить. Схватиль меня за руки: "За полиціей я, -говорить, -не пошлю, потому что это мив не идеть. Я человыкь семейный и солидный. А своими средствами я допытаюсь". Крутить мнъ руки, такъ что у меня глаза подълобъвыльзають: "Говори, гдъ деньги!" А я молчу, --, помучитъ, -- думаю, -- а я все-таки въ Парижъ увду, ввдь не убьеть же!" А онъ сильный. Пытка такая, что ужасъ. Закусила губы, чтобъ не крикнуть, -- войдутъ въ чемъ дъло-узнають и деньги отнимутъ. А купецъ говорить: "Воть какъ! Хорошо же!" Держить меня за выкрученныя руки и началь меня между лопатками изо всъхъ силъ бить: "Этого, -- говоритъ, -- дивертисмента никто не выдерживаетъ". Да тутъ, слава Богу, голый человъкъ, — онъ всегда дома былъ, — вступился. Какъ въ стънку забарабанитъ: "Что тамъ, говорить, -- за безобразія творятся? Воть сейчась, панталоны надвну, --приду! Купецъ и испугался: "Вотъ какъ, -- говоритъ, -- у васъ тутъ цълое гнъздо разбойничье! Не зналъ, куда попалъ". Да поскоръе вонъ, да поскоръе вонъ. А купецъ былъ милліонеръ, и украла я у него сто рублей, и онъ передъ этимъ со мной же триста пропиль! Я голаго человъка благодарить потомъ пошла. Мы даже и знакомы не были. Предложила ему 25 рублей, но онъ отстранилъ. "Вы,—

говоритъ,—съ ума сошли! Жамэ! А вотъ вечеркомъ когда зайдите. Благодаренъ буду!" Встръчаются и между ними настоящіе джентльмены безъ опредъленныхъ занятій! Забавная страна!

Она "хлопнула" послъдній бокалъ шампанскаго и сказала:

— Вотъ вамъ и гувернантка изъ Россіи!

Сквозь спущенныя шторы въ залъ ресторана пробивался бълесоватый утренній свътъ.

Пока длился разсказъ, гарсоны мъняли бутылки. Кругомъ было все сильно выпивши.

- Состаръюсь и повду къ русскимъ въ гувернантки!—съ грустью воскликнула пожилая женщина въ колоссальной шляпъ. — Все лучше, чъмъ въ St-Lazare!
 - Дура! ты думаешь?
- Ma pauvre marmi-i-i-te-с...—надрывался на эстрадъ пъвецъ изъ "Quat'z'arts".

Эта встръча вспомнилась мнъ на-дняхъ въ одномъ обществъ, гдъ говорили о московскихъ двухъ эстонкахъ, одной боннъ и одной компаньонкъ, задумавшихъ убійство съ цълью грабежа.

— Не хотъли трудиться!—въ одинъ голосъ восклицали дамы въ отличныхъ платьяхъ.

А гувернантка въ углу разливала чай для гостей.



Внаменитость.

. • •

Знаменитость.

Онъ какъ бомба влетълъ въ редакцію, схватился объими руками за голову и бросился въ кресло.

- Ради Бога! Спасите ее и меня!
- Что случилось?
- Она хочетъ летъть на воздушномъ шаръ!
- Какъ, на воздушномъ шаръ?!
- Держась зубами за трапецію! Будь проклять тоть день и чась, когда ей попалась на глаза газета съ этимъ описаніемъ полета Леоны Даръ! Ей, видите ли, мало славы знаменитой концертной пъвицы, "вънскаго соловья", она желаетъ еще славы неустрашимъйшей акробатки и собирается схватиться за эту славу зубами!
 - Но въдь это сумасшествіе!!!
- А развѣ Эмма Андалузи когда-нибудь была здравомыслящей! Развѣ вы не читали, какъ въ Мадридѣ ее приняли за безумную и засадили въ сумасшедшій домъ?! Вотъ у меня и вырѣзка изъ мѣстныхъ газетъ! Прочитайте! Клянусь, эта женщина введетъ меня въ могилу! Я застрѣлюсь! Я брошусь съ вашего ужаснаго моста! Я кинусь въ море! Это выше моихъ силъ! Будь проклятъ день и часъ, когда я взялся возить Андалузи кинцертировать по всему свѣту! О, ради Бога...
 - Но что же можетъ сдълать редакція?

- Она васъ такъ уважаетъ! Такъ дорожитъ вашимъ мнѣніемъ! Ваши отзывы, это — единственное, что она приказываетъ себъ переводить. О, ради Бога! Отговорите ее отъ этого ужаснаго намъренія летъть, держась зубами за трапецію! Вы одинъ можете это сдълать!.. Ради Бога ъдемъ сейчасъ же, — она только что кончила дрессировать своего леопарда.
 - Что-о?!
- У этой дикой женщины явилась фантазія сдълаться также укротительницей звърей. Она выписала себъ леопарда! Насъ гонять изъ гостиницы! Вы понимаете, мы занимаемъ маленькій отдъльный корпусъ, но все-таки ревъ этого чудовища! Она по четыре раза въ день забирается къ нему въ клътку и хлещеть его хлыстомъ. Это ужасно! Теперь она кончила свои адскія упражненія, и мы застанемъ ее за завтракомъ... Конечно, если ею самою не позавтракалъ леопардъ!

Бъдняга безпомощно развелъ руками.

- Хорошо, я кончу работу и сейчасъ прівду.
- О, какъ мнѣ васъ благодарить! Быть можетъ, коть вы сумѣете ее уговорить! Ради всего святого!

Онъ встрътилъ меня въ коридоръ, блъдный и испуганный.

- Ради Бога, подождите одну минуту! Эта сумасшедшая выдумала новую забаву. Она нарисовала на двери кругъ и стръляетъ въ цъль изъ пистолета. Ей, видите ли, хочется стрълять, какъ Вильгельмъ Телль. А я изъ-за этого долженъ успъвать войти въ дверь между моментомъ, когда она цълитъ, и моментомъ, когда она выстрълитъ.
- Д-да, при такихъ условіяхъ довольно неудобно входить.

— Но постойте, я ей сейчасъ скажу, что это вы! Ради васъ, быть-можетъ, она сдълаетъ исключение и прекратитъ на нъсколько минутъ свои дъявольския забавы!

Онъ подошелъ къ двери и постучалъ.

За дверью грянуль выстръль.

Онъ отскочилъ.

- Чортъ знаетъ, тутъ заплатишь за концерты жизнью. Синьора Андалузи, это г. Х, критикъ, котораго вы всегда читаете? Ради Бога, прекратите вашу дьявольскую баталію, хоть для того, чтобы онъ могъ войти и засвидътельствовать вамъ свое почтеніе!
- A! это г. X! Я рада его видъть! Пусть войдеть! Она стояла посреди комнаты, въ трико тълеснаго цвъта, какъ гимнастка, съ пистолетомъ въ рукахъ.

Комната была полна пороховымъ дымомъ, за перегородкой ревълъ леопардъ. Съ потолка спускалась трапеція.

- A, m-r X! Я рада васъ видъть! А я немножко стръляла! Не правда ли, я недурно попадаю въ цъль? Въ серединъ кружка застряло нъсколько пуль.
- Да, но вашъ импрессаріо говоритъ, что вы собираетесь сдълаться еще и воздухоплавательницей!

А, m-г Ракошъ ужъ успълъ пожаловаться! Да, да, я лечу.

- Держась зубами за трапецію! Великая и знаменитая концертная пъвица...
- Мит надотло быть знаменитой птвицей, я хочу быть знаменитой гимнасткой. Знаменитых птвицъ много,—Леона Даръ—одна! Это меня бтсить! Я не хочу, чтобъ она была самой мужественной изъ женщинъ. Я лечу точно такъ же. Къ тому же это вовсе не такъ трудно. Я ужъ научилась висть по десяти

минуть, держась зубами за трапецію. Не все ли равно висъть въ комнатъ или на воздухъ. Хотите, я покажу вамъ, какъ это дълается. Ракошъ, стулъ!

- Ради Бога, синьорина! Я врагъ сильныхъ ощущеніи!
- Если вы боитесь смотръть,—не нужно! А жаль! Вы убъдились бы, что Эмма Андалузи такая же великолъпная гимнастка, какъ и пъвица!
 - Поговоримъ лучше о вашемъ концертъ.
 - Я не пою.
- Господи, полный сборъ! взвылъ въ углу m r. Ракошъ.
- Мит итть до этого дела. Я не пою, потому что у меня есть дела поважите: я собираюсь летть, наконець, мой леопардъ становится все болте и болте свиртнымъ. Кромт того, мит нужно стрълять.
- Синьорина! Но ради вашего несчастнаго имрессаріо, ради публики, ксторая такъ жаждетъ слышать знаменитую Эмму Андалузи...

Она задумалась:

— Ради импрессаріо ничего. Для публики все. Я пою. Вы знаете мою слабую струнку. Это мой богь, мой повелитель, идоль, которому я молюсь! Публика мнъ замъняеть все,—семью, любимаго человъка. Если бъ публика потребовала этого, я пожертвовала бы для нея все,—себя, свое тъло. Если бъ публикъ это доставило удовольствіе, — я умерла бы на ея глазахъ въ пыткахъ инквизиціи.

Только подъ звуки ея аплодисментовъ! Публика требуетъ,— Эмма Андалузи поетъ!

На слъдующий день всъ газеты возвъстили о новыхъ причудахъ знаменитой Эммы Андалузи.

Абонементъ на три концерта впередъ по сумасшедшимъ цънамъ былъ разобранъ.

Наступилъ день концерта.

8 часовъ. Залъ благороднаго собранія переполненъ, а Эммы Андалузи все еще нътъ.

Четверть девятаго. Публика волнуется.

Двадцать минутъ девятаго.

Наконецъ-то!

Появляется ея секретарь съ драгоъциностями и подковой. Эмма Андалузи никуда безъ грязной желъзной подковы не ъздить.

Камеристка, которая несеть ея Бобби, маленькаго мопса, въ ошейникъ, осыпанномъ крупными брильянтами, два ливрейныхъ лакея съ массой картонокъ и m-r Ракошъ съ бонбоньеркой конфетъ для маленькаго Бобби.

Эмма Андалузи, вся въ перьяхъ, кружевахъ, брильянтахъ, бросается въ кресло и начинаетъ кормить Бобби конфетами.

- Синьорина! умоляюще бормочеть г. Ракошъ, кидаясь на колъни. Пора начинать!
- Ахъ, пойдите вы съ вашимъ пъніемъ! Какъ я могу пъть, когда маленькій Бобби боленъ! Смотрите, онъ не ъстъ даже шоколадныхъ конфетъ!
 - Синьорина!!!

M-г Ракошъ съ умоляющимъ видомъ обращается къ старшинамъ, стоящимъ въ дверяхъ:

— Уговорите хоть вы ее, что пора начинать.

Изъ зала доносятся аплодисменты потерявшей терпъніе публики.

— Публика! Аплодисменты!

Эмма Андалузи кидаетъ мопса на полъ такъ, что тотъ визжитъ.

— Пустите меня къ моей публикъ!

И она съ горящими глазами бъжитъ на эстраду.

Каждая арія, спътая ея звучнымъ, красивымъ груднымъ голосомъ, вызываютъ восторгъ.

Въ антрактахъ старшины разсказывають о сценъ въ уборной.

- ... Но стоило ей услыхать аплодисменты.
- Вотъ это настоящая артистическая натура!
- Это артистка въ душъ, взбалмошная, сумасшедшая, но артистка.

И публика реветь:

— Андалузи!.. Браво... Андалузи!..

Она поетъ безъ конца.

Посылаетъ воздушные поцълуи, смотритъ своими огненными страстными глазами, словно готовая отдаться всей публикъ.

А когда ее засыпають цвътами, она хватается за сердце, дрожить, изнемогаеть оть восторга, оть счастья, какъ будто оть страсти любви.

Публика сумасшествуетъ.

По окончаніи концерта я иду въ уборную и еще издали слышу крики, вопли.

Что случилось?

По уборной летають картонки, шляпы, боа изъ перьевъ, ноты, въера, букеты.

Бъдный Ракошъ прижался въ уголкъ весь засыпанный цвътами.

Она кидается ко мнъ.

— Онъ меня обманулъ! Онъ низко меня обманулъ! Онъ привезъ меня въ Россію! Вообразите, я сепчасъ хо-

тъла ъхать охотиться на медвъдей, — а онъ говорить, что здъсь нътъ медвъдей! Значить, это не Россія, если нътъ медвъдей! Скажите, гдъ я, наконецъ, въ какой странъ?

- Синьорина, успокойтесь! Медвъди водятся только на съверъ! На югъ медвъдей нътъ!
- О, Боже, эта женщина сведетъ меня въ могилу! восклицаетъ бъдняга Ракошъ подъ хохотъ поклонниковъ, переполняющихъ коридоръ.

Это произошло случайно.

Я зашелъ черезъ нъсколько дней за карточкой и остановился у двери, раздумывая:

— Что дѣлаетъ теперь почтенная синьорина? Сидитъ въ клѣткѣ у леопарда, виситъ зубами на трапеціи или цѣлитъ изъ пистолета въ ту дверь, въ которую я долженъ войти.

Я хотълъ постучать, какъ вдругъ остановился, словно вкопанный.

Это было совсёмъ необычайно.

Кричалъ г. Ракошъ. Эмма Андалузи говорила жалобнымъ голосомъ, дрожавшимъ отъ слезъ.

- Ты должна это сдълать! Понимаешь ты это! Это необходимо для слъдующихъ концертовъ! ревълъ г. Ракошъ.
- Я не могу! Вы понимаете, я больше не могу! рыдала Эмма. Вы заставляете меня ходить въ трико при постороннихъ, этотъ страшный леопардъ такъ реветъ, что я не могу по ночамъ сомкнуть глазъ, вся дрожу! Каждый разъ, какъ вы стукнете въ дверь, я должна подойти и выстрълить въ середину кружка. Я боюсь, что въ эту минуту отворятъ дверь, и я кого-нибудь убъю! У меня дрожатъ руки, когда я только дотронусь

до этого страшнаго оружія, а теперь вы заставляете меня стрълять въ живого человъка! Я не могу убивать! Не могу!

- Какой дьяволь говорить тебь объ убійствь! Твой пистолеть даже не будеть заряжень! А я разскажу потомъ журналистамъ, что ты выстрълила въ воздухъ изъ великодушія. А онъ, какой же дуракъ станеть стрълять въ женщину! Воть ты должна послать вызовъ этому рецензенту и объявить, что убъешь его, какъ собаку, если онъ откажется. Это очень эффектно, чортъ побери! И превосходно въ смыслъ рекламы!
- Боже мой! Боже мой! Да когда же кончится эта мука!
 - Вмъстъ съ твоимъ контрактомъ, не ранъе!
- Вы ставите гробъ въ моей спальнъ и распускаете слухи, будто я сплю въ гробу!

Положимъ, я сплю на матрацѣ на полу, но, понимаете ли, мнѣ страшно быть въ одной комнатѣ съ этимъ страшнымъ гробомъ. Я задыхаюсь отъ порохового дыма, которымъ переполнена комната. Вы заставляете меня играть роль какой - то полоумной! Вы ославили меня такою на весь свѣтъ, на весь свѣтъ! Мнѣ стыдно читать въ газетахъ, что про меня пишутъ! Въ Мадридѣ вы, для вашей проклятой рекламы, на три дня посадили меня въ больницу для душевнобольныхъ. Господи! Господи!

- Амнъ, думаешь, весело выслушивать крикъ такой дъвчонки, какъ ты! По сорока разъ въ день падать передъ такой дрянью на колъни! Получать затрещины и картонки въ голову.
- Но въдь я артистка, наконецъ, чортъ васъ побери! Мнъ надоъли эти комедіи!

- Молчать! Здъсь нътъ постороннихъ, чтобъ кричать на меня! Много сдълаещь съ однимъ голосомъ, безъ рекламы, чортъ побери! Мы живемъ въ въкъ рекламы! Ты помнишь, какъ ты босой дъвчонкой пришла ко мнъ, кончивъ вънскую консерваторію.
- Да, я пришла къ знаменитому Ракошу, а не къ балаганному шарлатану. Я никогда не забуду этой гнусной комедіи. Вы приказали мнъ кинуться въ Дунай и будто бы спасли.
- Да, чорть возьми! Публика любить все необыкновенное. На слъдующій же день всь газеты писали о томъ, какъ знаменитый Ракошъ спасъ молодую дъвушку, кинувшуюся изъ-за несчастной любви въ воду, и какъ у нея оказался замъчательный голосъ. А эта поъздка по Италіи? По два урока у каждой знаменитости, эти телеграммы, что величайшіе профессора пънія разрывають тебя на части, отнимають другь у друга!
- Боже! Какая ложь! Какая гнусная ложь! И все это за ничтожные 500 франковъ въ мъсяцъ, изъ которыхъ я 300 отсылаю моей бъдной мамъ и сестрамъ. Онъ тамъ голодають! Моя бъдная, моя милая мама, которую вы чуть-чуть не убили этой гнусной выдумкой про никогда не существовавшаго венгерскаго графа.
- А что жъ? Публика это любитъ, когда знаменитыхъ увозять венгерскіе графы. Развъ вамъ что-нибудь сдълаль этотъ несуществующій графъ?
- Да, но мама, бъдная мама! Она чуть не умерла отъ горя, стыда, позора!
 - Отъ этого не умирають!
 - Такіе, какъ вы!

- Потише!
- Вы смете поднимать на меня руку? И все это за 500 франковъ, на которыхъ вы наживаете десятки тысячъ.
- А что жъ? Развъ ты въ чемъ-нибудь нуждаешься, неблагодарная тварь! У тебя чего-нибудь нътъ...
- Да! Брильянты, которые по контракту принадлежать вамъ же. Платья, бълье, — все это ваше. Если я завтра потеряю голосъ, — я нищая, безъ всего!
- Не безпокойся! Я возьму антрепризу другого "чуда свъта", а ты останешься у меня въ качествъ... компаньонки!.. Ты мнъ продолжаешь нравиться!
- О Боже! Не смъйте говорить хоть объ этомъ! Когда я подумаю, къ чему вы меня принуждаете!
 - Контрактъ!
 - Негод...
 - Молчать!

Раздался ударъ, крикъ, я рванулъ дверь, она была заперта.

Я постучаль, и оттуда послышался вопль г. Ракоша:

— Синьора! Ради Бога, прекратите ваши упражненія въ боксъ! Вы меня убьете на смерть.

Синьора!

Тихій, злобный шопоть:

— Кричи же: "нътъ, не кончу, пока не нанесу вамъ удара въ грудь". Тамъ кто-то есть!

И она крикнула громкимъ голосомъ, стараясь подавить рыданія:

— Нътъ, не кончу, пока не нанесу вамъ удара въ грудь!

А черезъ двъ недъли я прочиталъ въ парижскихъ газетахъ, что у пріъхавшей въ Парижъ концертиро-

вать знаменитой Эммы Андалузи явилась новая прихоть.

Она ищетъ славы великой навздницы и каждый день скачетъ верхомъ черезъ высокіе барьеры.

Кромъ того, она завела себъ большого ручного крокодила, который спить въ ея спальнъ, рядомъ съ "ея знаменитымъ гробомъ".

Бъдная!



О чемъ говорятъ въ Коломнѣ?

. 1 . .

О чемъ говорять въ Коломнъ?

О дороговизнъ дровъ? О цънахъ на капусту? Гдъ лучше покупать коленкоръ?

— Нътъ!

Reunion у вдовы титулярнаго совътника Акакіевой. Среди присутствующихъ. Назовемъ au hasard:

Матушка дьяконица. Жена клубнаго буфетчика (зеленое платье съ черными кружевами). Вдова надворнаго совътника Перепетуя Егоровна Заковыкина (очень хорошенькій туалеть: платье съ турнюромъ, въ біэ, плиссе и складкахъ) etc.

Въ углу столикъ съ пастилой, монпансье, карамелью и сухарями.

- Мерси!—сказаль младшій бухгалтерь изъ склада свъчей, принимая чашку чая.
 - Па де куа! -- любезно отозвалась хозяйка дома.
 - Пуръ вотръ бонте!

Вдова титулярнаго совътника бросила на него благодарный взглядъ; онъ украшаетъ ея гостиную!

Дьяконица поправила лиловую шаль и сказала:

- А княгиня Андалузова вчера была на двухъ вечерахъ въ одинъ вечеръ: у Надбольскихъ и бароновъ Пштъ!
 - Эскэ сэ жюсть?—удивился младшій бухгалтерь.

- Это знають всё, кто слёдить за свётской хроникой!—пожала плечами жена клубнаго буфетчика.— Я читала объ этомъ въ газетахъ!
- Да, но я не узнаю за послъднее время княгини Андалузовой!—продолжала дьяконица.—Гдъ ея вкусъ? Она была въ свътломъ туалетъ, отдъланномъ брюссельскими кружевами.
- Брюссельскія кружева нынче не въ модъ! замътила вдова надворнаго совътника, поправляя турнюръ.
- То же говорю и я!—взволнованно воскликнула дьяконица.

А мъстная просвирня добавила со своей стороны:

- Знать, князь не очень-то раскошеливается!
- Онъ всегда былъ скупъ! Всегда!—почти съ ужасомъ воскликнула хозяйка.

На что матушка дьяконица замътила съ тонкой улыбкой:

— Ну, а чего же смотрить графъ?

И всъ опустили глаза, улыбаясь тонко и ядовито, а хозяйка дома поспъшила даже замътить:

— Господа, перемънимъ разговоръ!

Общество было шокировано поведеніемъ большого свъта.

- Графъ? Который это графъ?—спросилъ молодой столоначальникъ.
- Когда въ нашемъ обществъ говорятъ о графъ, это значитъ: графъ Атлантъевъ! строго и наставительно пояснила дъяконица.

И молодой столоначальникъ наклоняетъ голову съ глубокимъ почтеніемъ, какъ вновь посвященный, которому открываютъ тайны ордена.

- У Вандомскихъ вчера опять танцовали подъ рояль!—говоритъ дьяконица, чтобъ перемънить разговоръ.—Много моледежи! Танцовали раз de quatre, и съ оживленіемъ.
- И при этомъ чуть не случился пожаръ!—огорченно добавляетъ жена клубнаго буфетчика.
- Сапристи!—не можетъ удержаться отъ изумленнаго восклицанія маленькій бухгалтеръ.

И все общество наставительно ръшаеть:

- Мы всегда говорили, что pas de quatre не доведетъ до добра!
- Но странно, что объ этомъ нътъ въ газетахъ! изумляется вдова надворнаго совътника. —Ужъ за чъмъ, за чъмъ, а за свътской жизнью я всегда слъжу!
- Чтобъ слъдить за свътской жизнью, недостаточно однъхъ газетъ!—величественно роняетъ жена клубнаго буфетчика.—Въ свътъ бываютъ происшествія не для газетъ! Чтобъ все знать, пужны связи.
- Но, ради Бога, раскажите, какъ же это могло случиться? спъшить хозяйка прервать ръзкій обороть, который принимаеть causerie.
- Мужу разсказываль объ этомъ ихъ дворецкій!— говорить жена клубнаго буфетчика, и все общество почтительно произносить:
 - A-a-a!
- Одна изъ свъчей упала на платье графини Ямпольской и...

Жена клубнаго буфетчика разсказываетъ подробно, какъ была испугана "сама m-me Вандомская", какъ кинулся спасать графиню молодой князь Уховертовъ.

Всъ подробности, какъ будто горящая свъча упала на нее!

— Лакею отказали отъ мъста!—заканчиваетъ она повъствованіе.

Разсказъ производитъ сильное впечатлъніе.

- Ахъ, я просто дрожу за бъдную графиню! близка къ обмороку хозяйка дома.
- Ничего!—успокоиваетъ всъхъ разсказчица.—Графиня не получила обжоговъ!

И общество успокоивается.

— Да,—замъчаетъ по этому поводу дьяконица,—хорошо, что это такъ кончилось! А то было бы непріятно для молодой графини передъ свадьбой.

Извъстіе, которое производить впечатльніе взрыва бомбы среди комнаты.

- Какъ свадьбы? Чьей? Какъ же мы объ этомъ ничего не знали?
- Графиня выходить замужь за князя Реставранскаго!—торжественно говорить дьяконица, кидая уничтожающій взглядь на жену клубнаго буфетчика.—Я знаю это изъ первыхъ рукъ. Отъ племянника моего мужа: онъ дьячкомъ въ церкви конюшеннаго въдомства! Предстоить оглашеніе!
 - Кто бы могь этого ожидать!
 - Какой сюрпризъ для всъхъ насъ!
 - А мы прочили ее за барона Иксъ!
 - Parbleu!—восклицаетъ маленькій бухгалтеръ.

И они говорять, говорять, говорять объ этомъ міръ, болье далекомъ отъ нихъ, чъмъ солнце отъ земли.

И они тянутся къ этому далекому солнцу, которое ихъ даже не гръетъ, какъ тянутся къ солнцу бъдныя, желтыя, чахлыя маленькія былинки, выросшія въ цвъточномъ горшкъ на окнъ "домика въ Коломнъ".

И они живутъ, эти бъдные духомъ люди, обрывками того, что дойдетъ до нихъ изъ вашихъ салоновъ, точно такъ же, какъ бъдняки украшаютъ себя купленными на старомъ рынкъ тряпками, которыя были когда-то нарядными платьями первыхъ щеголихъ.

Когда васъ упрекаютъ въ пустотъ вашей жизни разные моралисты, не въръте имъ, сударыня, — вы наполняете своей пустотой жизнь этихъ бъдныхъ людей. Право, вы дълаете добра больше, чъмъ знаете.

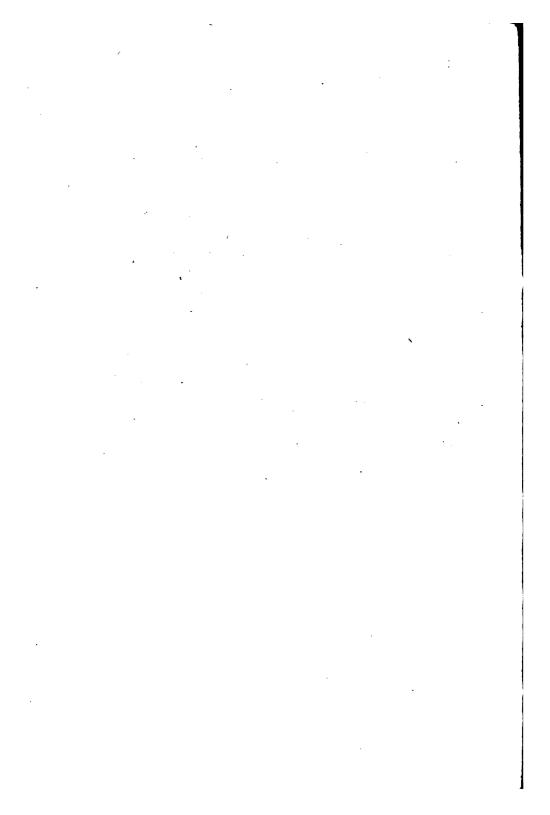
Въ ту минуту, когда вы подаете, сударыня, маленькую чашечку чая молодому дипломату, аромать этого чая доносится до Коломны и щекочеть ноздри просвирни.

Не курьезно ли созданъ свътъ?

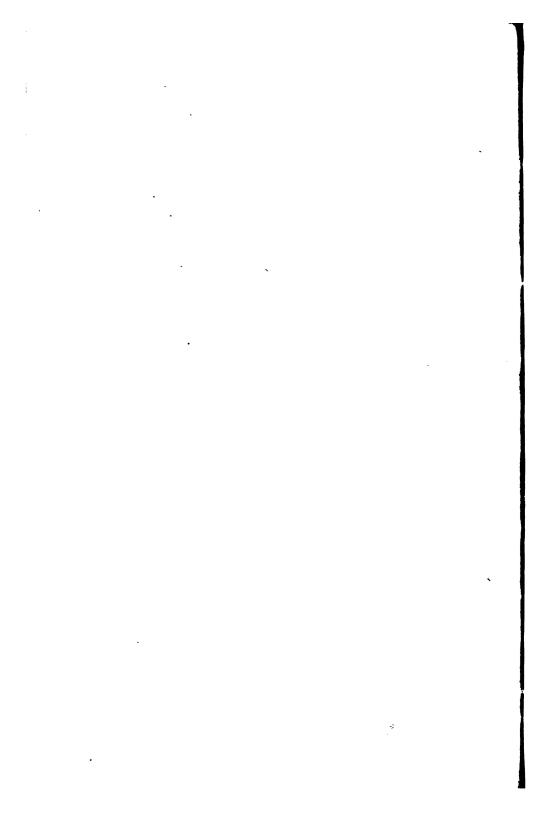
Свъчка, упавшая на ваше платье, заставляеть испуганно вскрикивать коломенскую мъщанку.

И большой свъть необходимъ, чтобъ было о чемъ говорить маленькому.





УБІЙСТВО.



Убійство.

Это было въ тропикахъ, гдъ и безъ того кровь вспыхиваетъ какъ спиртъ. А тутъ еще эта парочка.

Болъе невъроятной пары нельзя себъ даже и вообразить.

Онъ, отъ котораго въетъ могилой. И она, съ наружностью вакханки, полная жизни, страсти, гръха.

Они были всегда вмъстъ, всегда неразлучны. Это было какое-то безумье любви.

Поздно вечеромъ, когда небо казалось убраннымъ кружевомъ изъ крупныхъ брильянтовъ и словно отъ страсти вспыхивала и загоралась голубыми огнями вода, ихъ можно было видъть на "променадъ-дэкъ", въ отдаленномъ углу, какъ двухъ влюбленныхъ.

Они летали рядомъ въ лонгшезахъ,—онъ, закрытый пледомъ, изъ-подъ котораго выдавались острыя очертанья его тъла, словно покрытый трупъ. И она, прильнувшая къ нему, нашоптывающая ему что-то, на что онъ отвъчалъ мучительнымъ кашлемъ чахоточнаго, въ послъднемъ градусъ болъзни.

По утрамъ онъ являлся въ "смокингъ-румъ", разбитый, съ землистымъ цвътомъ лица, съ провалившимися глазами. Съ видомъ въ конецъ измученнаго человъка падалъ въ кресло и смотрълъ измученнымъ взглядомъ, полнымъ страданья. А черезъ иять минутъ являлся "бой":

Леди проситъ васъ въ "сосіалль-холлъ".
 Или на спардэкъ.

Онъ таялъ на нашихъ глазахъ, таялъ какъ свъчка, которую поставили около жарко растопленнаго камина.

— Врядъ ли мы довеземъ его до Гонолулу,—говорилъ нашъ пароходный докторъ:—это невозможно!

И улыбался, говоря эти грустныя слова.

— Это невозможно!

Какъ-то разъ — это было въ чудное тропическое утро, теплое, мягкое и нъжное—я подмътилъ странный взглядъ, брошенный имъ на красавицу-жену.

Мъ сидъли вмъсть на променадъ-дэкъ, когда появилась она, свътлая, какъ утро, прекрасная, какъ весна, еще болъе очаровательная въ своемъ утреннемъ туалетъ.

— А, вотъ вы гдъ? Спрятались здъсь? А я ищу васъ по всему пароходу, посылала въ смокингъ-румъ...

И она подходила къ нему, улыбаясь, съ нъжнымъ взглядомъ.

А онъ смотрълъ на нее съ ненавистью, съ ужасомъ, словно къ нему приближалось чудовище.

Мы вмъсть оставались двъ недъли на Сандвичевыхъ островахъ, и, право, среди этой опьяняющей обстановки знойныхъ дней, душныхъ ночей, воздухъ, напоенный запахомъ пальмъ и цвътовъ, среди пънья птицъ и звона гитаръ по вечерамъ,—нельзя было не завидовать этому полутрупу, въ который почему-то такъ безумно была влюблена такая женщина.

Однажды я поймаль ихъ вмъстъ на морскихъ купаньяхъ, въ бесъдкъ изъ розъ,—ее, только что вышедшую изъ воды, въ купальномъ костюмъ, прилипшемъ къ ея тълу, какъ трико,—и его, даже здъсь кутавшагося въ драповое пальто.

— Вы убиваете меня!—говорилъ онъ, и въ голосъ его слышалось столько страданья.

А она съла къ нему на колъна и что-то зашептала, отъ чего вспыхнули ея щеки,—обнявъ его своею полною, влажною отъ морской воды рукой, близко наклонившись къ его уху.

Жизнь и смерть... Другого имени не было этому контрасту.

Мы шли на одномъ пароходъ и отъ Гонолулу до Санъ-Франциско.

— Тамъ мы проведемъ весну! — сказала она мнъ какъ-то за объдомъ. — Мой мужъ не совсъмъ здоровъ, у него бронхитъ. И докторъ ему велълъ житъ среди въчной весны. Вотъ мы и ъздимъ въ погонъ за весной!

И она разсмъялась, бросая на мужа взглядъ, полный любви.

Онъ посмотрълъ на нее съ такимъ ужасомъ уъ такимъ страданьемъ.

— Да, да! Не спорь, ты долженъ жить срединой весны. Такъ сказалъ докторъ... Вообрите, и мужъ не любитъ весны. Не забавно?

И отна снова расхохоталась, но на этотъ разъ въ ея смъхъ миъ послышалось что-то злое, насмъшливое.

Однажды мы встрътились съ нимъ на спардэкъ Мы были вдвоемъ. Онъ оглянулся кругомъ, торопливо вынулъ изъ кармана свертокъ какихъ-то бумагъ и дрожащею рукой подалъ его мнъ.

- Вы въдь литераторъ?
- Да.

— Вотъ, вотъ. Возьмите это. Вамъ пригодится. Вы узнаете, какія преступленія творятся на свътъ. Возьмите! Только не читайте теперь. Потомъ... потомъ... Когда мы разстанемся въ Калифорніи. А теперь прячьте, прячьте... Она...

На трапъ раздавался ея веселый голосъ.

Вы вотъ гдѣ, мой другъ!..

Онъ посмотрълъ на меня своимъ страдальческимъ взглядомъ, словно умоляя сохранить тайну.

— Я... да, я здѣсь...

Въ Санъ-Франциско мы разстались, она увезла его въ Los-Angelos, гдъ въ то время весна была въ полномъ разгаръ, а я по дорогъ изъ Санъ-Франциско въ Огдэнъ взялся за бумаги, узнать, что за тайна связываетъ эту женщину съ полутрупомъ.

Это были листки, вырванные, въроятно, изъ дневника. Въ нихъ было зачеркнуто все, что касалось мелочей, и оставлены только самыя интимныя строки.

"Старикъ Джемсонъ—самый честный и умный докторъ на свътъ. Онъ прямо сказалъ, что у меня не бронхитъ, не эмфизема, а чахотка. Чахотка! У меня все поплыло передъ глазами, когда я отъ него вышелъ. Чахотка! Въ тридцать лътъ выслушать такой приговоръ. Я провелъ нъсколько дней человъка, присужденнаго къ смертной казни. Я плакалъ, и мнъ хотълось застрълиться"...

"Это чувство горя, отчаянія, теперь замѣнилось тихою, безконечною грустью. Я освоился съ мыслью о смерти. При мысли о ней я не чувствую ни ужаса ни отчаянія. Если бы ея призракъ пришелъ ко мнѣ, — я не бросился бы бѣжать. Мое сердце только сжимается, и я чувствую страшную тоску. Природа,

люди, — все дышить на меня грустью. Скоро я не увижу всего этого. Все это будеть, все останется... только исчезну я. И мит жаль разстаться со встань этимъ. Такъ, въроятно, чувствуеть себя приговоренный къ казни, когда здъсь онъ освоится съ мыслью, что скоро всему конецъ"...

"Мнѣ жаль разставаться съ жизнью,—а что я взяль отъ нея? О Боже! Какъ мнѣ хотѣлось бы не любить,— нѣтъ,—а быть любимымъ. Вѣдь я ухожу съ пира, не отвѣдавъ самаго лучшаго вина. Быть любимымъ,— какое счастье для всѣхъ, а для умирающаго... Пока мы здоровы, мы любимъ, когда мы больны,—намъ необходимо, чтобы насъ любили"...

"Миссъ Лаура Хилль прелестная дѣвушка. Какая красота! какое здоровье! Завидно смотрѣть на нее. И вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ такъ хотѣлось быть ближе къ ней. Мнѣ кажется, что отъ одного ея поцѣлуя я поздоровѣю. Когда я, прощаясь, задержалъ ея руку въ своей, я чувствовалъ, какъ отъ этой горячей руки становится теплѣе моя холодная рука. Какъ много въ ней жизни, здоровья!"

"Ея мать обнищала, кажется, была авантюристкой... О, Боже, не все ли мнв-то равно, съ какою родней явлюсь я туда... Туда... Туда... А здвсь, здвсь, какія радости здвсь, и я ухожу, не зная лучшихъ. Право, мнв становится даже смвшно: словно ухожу навсегда изъ Дрезденской галлереи, не увидввъ Мадонны Рафаэля! Жизнь! Жизнь! Я хочу радости жизни. Ввдь я не злоупотреблю счастіемъ: какихъ-нибудь два-три года".

"Мать согласилась сейчасъ же. Дочь вышла, какъ будто разстроенная, она словно плакала. Мать гово-

рить, что это такъ, ничего, что плачуть всё дёвушки... Можеть-быть. Буду вёрить".

"Сегодня я, какъ объщалъ, подписалъ духовное завъщаніе, все въ пользу моей будущей жены. Съ этого я и началъ свое предложеніе. Мать протестовала тогда, но не особенно... О, Боже, какъ все это тяжело! Когда я подписывалъ завъщаніе, мнъ почему-то казалось, будто я подписываю свой смертный приговоръ. Я каждую минуту думаю о смерти. Я хочу любви, какъ пьянства, чтобы забыться и не думать"...

"Давно я не брался за свой дневникъ, гдъ копаюсь въ своихъ душевныхъ ранахъ. Потому что былъ счастливъ, и мнъ было не до анадиза, не до дневника. Нътъ! Гдъ жъ это опьянъніе? Я началъ чувствовать себя ужъ не приговореннымъ къ смерти, а трупомъ. Когда она меня цълуетъ, а я держу ее за талью,— я чувствую, какъ она вздрагиваетъ всъмъ тъломъ, словно поцъловала покойника. Долгъ, отвращеніе и ужасъ,—все въ этомъ поцълуъ. Когда я ее ласкаю,— она дрожитъ. Быть-можетъ, отъ гадливости"...

"О Боже! Какая это мука! Какъ счастливы прокаженные, что ихъ удаляють отъ здоровыхъ. Видъть отвращение къ себъ, — отвращение, которое хотятъ скрыть и не могутъ. О ужасъ!.."

"А все же я не одинъ. Когда мы больны, когда мы несчастны, — намъ страшнъе всего одиночество. Нуженъ хоть кто-нибудь около. Говорятъ, что при говоренные къ смертной казни часто со слезами прощаются со своимъ тюремщикомъ. Чувствуя себя одинокимъ, можно полюбить даже своего тюремщика. Я все-таки не одинъ. И, право, это отлично на меня дъйствуетъ, я становлюсь даже здоровъе".

"Положительно, я становлюсь здоровъе, особенно съ тъхъ поръ, какъ мы переъхали въ Каиръ. Быть можетъ, старикъ Джемсонъ ошибся, и это не чахотка? Какая же это чахотка, когда кашель почти исчезъ, лихорадка самая незначительная, я много хожу, даже ъздилъ верхомъ!.."

"Какъ пріятно, когда утромъ на тебя взглянетъ свѣжее лицо. Старый дуракъ вралъ! Какое счастье сознавать себя здоровымъ"...

"Кажется, я умру не отъ чахотки, а отъ счастья. Лаура... Да что это? Сонъ?"

"Честное слово, я боюсь проснуться. Быть обреченнымъ на смерть, жениться съ отчаянія, оказаться живымъ, здоровымъ, любить и быть любимымъ,-такъ любимымъ. Я пошлю Джемсону 500 фунтовъ. Этотъ старый факельщикъ сдёлаль меня счастливымъ... Какъ это произошло? Я сидълъ и читалъ. Она, въ первый разъ, сама подошла ко мнъ и поцъловала. Я не могъ опомниться отъ удивленія. А она стояла передо мной, словно провинившаяся школьница: "Что же? Развъ я не могу васъ и поцъловать?" Какъ растерянно она сказала это. Я кинулся къ ней и думалъ, что задушу въ объятіяхъ. Какъ она отвъчала на мои поцълуи. Въ ней проснулась женщина. Женщина, которая дремала въ этой девушке. О, какъ мало мы знаемъ женшинъ, а дъвушекъ такъ и не знаемъ совсъмъ. Мнъ казалось, что все это сонъ, что вотъ-вотъ я проснусь... Я спрашиваю ее, — да что же это? "Всв дввушки боятся, — я, быть-можеть, больше, чёмъ другія. Вотъ и все. Я боялась этихъ поцълуевъ. Не знаю почему, но я дрожала. Но вотъ уже нъсколько времени, какъ я чувствую все сильнъе и сильнъе волненіе, думая о

васъ. Какъ часто мнъ хотълось кинуться къ вамъ на шею. Но я не ръшалась. И вотъ сегодня... О, мнъ кажется, что передо мной открылся новый міръ"...

"О Боже! Какое опьянъніе! Какое безуміе любви! Мы бъжали изъ Каира на востокъ. Намъ не къ чему возвращаться домой. Мы хотимъ быть вдвоемъ. Этого для насъ достаточно. Моя голова горитъ, я самъ опьянъль, глядя на эту опьянъвшую отъ страсти женщину. Мы стали другими людьми".

"Бомбей мив вреденъ. Мой бронхить возобновился. Я снова кашляю кровью, чувствую прежнюю слабость, меня бьеть лихорадка. Мы перевхали въ Сингапуръ. Лаура мив сказала: "Я хочу видеть васъ здоровымъ, а счастливымъ вы будете, делая счастливою меня. Поймите, что я жить не могу безъ вашихъ ласкъ. Вы виноваты сами, зачёмъ ввели меня въ этотъ рай?"

"О небо! Если Джемсонъ не ошибался? Мою грудь словно разрывають на части. Когда у меня идетъ горломъ кровь, мнъ кажется, что я истекаю кровью, и вотъ-вотъ упаду мертвый. А она смъется: "Не надо только выходить вечеромъ на воздухъ, мы будемъ проводить вечера дома, вдвоемъ. Пустой бронхитъ! Нельзя быть такимъ трусишкой!" Кто правъ? Она или Джемсонъ?"

"Я чувствую, что умираю... А она, она обезумъла отъ любви. Она клянется, что не можетъ жить безъ моихъ ласкъ. О Боже! Что со мной! Когда она цълуетъ меня, мнъ почему-то представляется индусъ, лежащій въ травъ, умирающій, изъ котораго вампиръ высасываетъ кровь. Мы бъжимъ съ мъста на мъсто, ища въчной весны. Я чувствую, что сгораю въ этомъ кислородъ весны. А она говоритъ: "Докторъ, докторъ

такъ велълъ!" И душитъ меня поцълуями. Она убъетъ меня ими. Я чувствую, какъ съ ними уходитъ моя жизнь. Опять, опять, —этотъ индусъ передъ глазами"...

"Какое подозрвніе... Нвть, нвть, не можеть быть"...

"Да, да! Это такъ... Это такъ... Это такъ. Несомивно. Она убиваетъ меня. Наскучивъ ждать моей смерти, испугавшись, что я могу выздоровъть. Она убиваетъ меня быстро, върно"...

- Да, да! Это върно! Вчера я сказаль ей о моемъ индусъ. Она поднялась, блъдная какъ полотно, глядя на меня широко раскрытыми глазами, словно пойманная на мъстъ преступленія. Мнъ казалось, что она готова была задушить меня отъ ужаса. Она повторяла: "Ты такъ думаешь? Ты такъ думаешь? "И вдругъ кинулась ко мнъ: "Это бредъ! это бредъ! Я заставлю забыть о немъ! "И снова началось это безуміе. Я безумно любилъ и ненавидълъ ее, боялся и готовъ былъ убить. То забывалъ все, то вдругъ видълъ моего индуса,— онъ лежалъ около, на ковръ... Я видълъ, какъ блъднъетъ его лицо, а гаснущій, полный ужаса, взглядъ смотритъ мнъ прямо въ лицо... "Уйди! Уйди!" шепталъ я, а она безумъла отъ страсти. "Я заставлю тебя забыть объ этомъ страшномъ бредъ".
- Я гибну, гибну, и она дѣлаетъ все, чтобы ускорить мою гибель. Каждое утро она пытливо вглядывается въ мое лицо, словно хочетъ спросить: "Долго ли еще тебѣ остается жить?" И потомъ, словно испугавшись, что долго, спѣшитъ меня прикончить своими поцѣлуями. За этимъ взглядомъ любви и страсти, въглубинѣ этихъ глазъ я читаю ненависть и нетерпѣніе: "Умри!" Теперь она выдумала поѣздку въ Калифорнію. Вѣроятно, это меня убъетъ.

- О Боже! Я чувствую, что задыхаюсь въ соленомъ воздухъ океана, въ этомъ зноъ тропической весны. Я вижу недоумъвающія лица пассажировъ, когда они смотрять на меня и мою жену. Я ясно читаю въ ихъ взглядахъ: "Какой контрастъ! Что это?" Это убійство. И убійца около меня. Убиваетъ меня на глазахъ у всъхъ. И убійство останется нераскрытымъ.
- О, если бъ я могъ бъжать куда-нибудь съ этихъ Сандвичевыхъ острововъ, отъ этого зноя, воздуха, ласкъ. Но у меня нътъ силъ. Я чувствую на своемъ лицъ въяніе могилы, даже среди жары. Мнъ трудно даже просыпаться. Могила тянетъ меня къ себъ. Смерть неохотно даетъ пробуждаться и дать еще хоть одинъ день. Я безсиленъ бороться со сномъ, гдъ же мнъ бороться со смертью? А она, она помогаетъ смерти.
- Кажется, русскій журналисть, который ѣдеть съ нами оть Іокогамы, видѣль давеча эту сцену въ бесѣдкѣ изъ розъ? Думаль ли онъ, что передъ нимъ совершается убійство!

Убиваютъ навърняка, зная, что это убійство останется неразгаданнымъ, неоткрытымъ... А что, если раскрыть это убійство?

Это было черезъ годъ, въ Ментонъ.

Она увидъла меня изъ садика, гдъ сидъла, обложенная подушками, укрытая пледами, кутаясь вътеплую накидку.

— Я васъ узнала сразу. А вы меня не узнали? Нътъ?

Я смотрълъ на эту блъдную женщину, словно съ восковымъ лицомъ, и старался припомнить, гдъ я видълъ эти глаза, похожее на это лицо.

- Меня трудно узнать. Помните путешествіе изъ Іокогамы въ Гонолулу? Двъ недъли на Сандвичевыхъ островахъ? Меня и моего покойнаго мужа?
 - Вы ?!
 - Да, я.

Она закашлялась долгимъ, мучительнымъ кашлемъ, на платкъ появилось алое пятно.

- Воть! То же, что у моего мужа...
- Онъ...
- Умеръ. И оставилъ мнъ въ наслъдство деньги и чахотку...

Ея глаза загорълись злымъ, бъщенымъ огнемъ:

— Онъ заразилъ меня своими поцълуями. Онъ тянетъ теперь меня за собой въ могилу... Это его бользнь,—его призракъ... Онъ не отстаетъ отъ меня, не отстанеть, пока не задушитъ... "А, ты мечтала о свободъ, о богатствъ"...

Она говорила, какъ въ бреду.

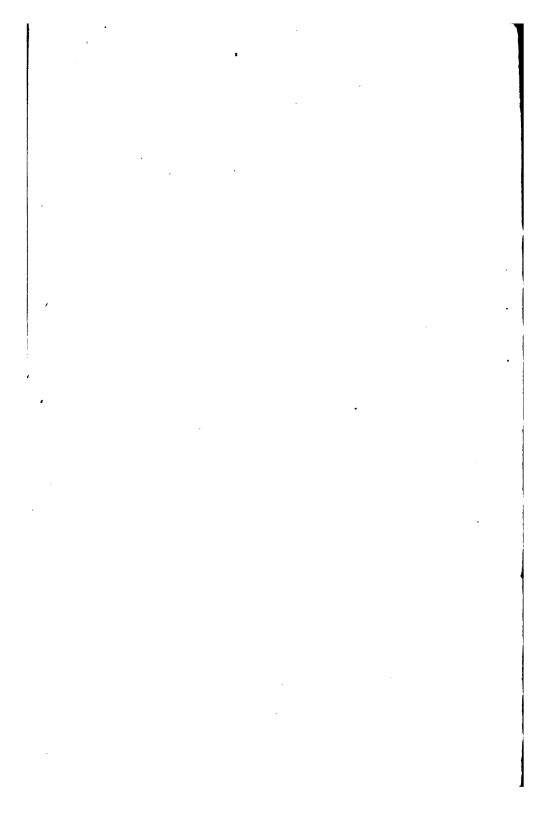
— Такъ мучайся теперь. Кто мучается больше?.. Одно, одно есть у меня... Я все-таки отомщена... Онъ догадывался, что значили эти поцълуи, онъ мучился передъ смертью... Онъ мучился... мучился...

И глаза ея горъли тъмъ злымъ взглядомъ, который бываетъ только у чахоточныхъ и у женщинъ.

— Мучился... мучился...

У нея хлынула горломъ кровь. Она захрипъла.





Визитъ.

Визитъ.

(маленькій разсказъ.)

Это было зимнею ночью. Въ стужу. Дулъ ледяной вътеръ.

Въ кабинетъ, — роскошномъ кабинетъ краснаго дерева, — было хорошо. Въ книжныхъ шкапахъ золотомъ сверкали великіе авторы въ великолъпныхъ переплетахъ. Въ богатыхъ рамахъ висъли картины лучшихъ мастеровъ.

Рубинами догорали угли въ каминъ.

Иванъ Ивановичъ, старый литераторъ, редакторъ, сидълъ въ халатъ и грълся у камина.

— На завтра номеръ будетъ недуренъ. Эта статья не понравится министру Иксъ, но придется по вкусу министру Игрекъ. Зато Иксъ получитъ компенсацію: ему понравится другая статья, которая не понравится Игреку. А публика скажетъ: какъ они смълы! Въ этомъ состоитъ газетное дъло!

Иванъ Ивановичъ улыбнулся улыбкой философа или стараго плута.

Онъ всталъ, досталъ въ письменномъ столъ ключъ, откинулъ пестрый восточный коверъ, висъвшій въ простънкъ между двумя книжными шкапами,—на одномъ стоялъ бюстъ Бълинскаго, на другомъ—Щедрина,—и отперъ вдъланный въ стънъ несгораемый шкапъ.

Онъ досталъ оттуда пачки акцій, облигацій, выигрышныхъ билетовъ, денегъ, вкладныхъ квитанцій и съ улыбкой понесъ на кресло передъ каминомъ.

Тихая, радостная минута, которую онъ доставлялъ себъ время отъ времени.

Съ нъжною улыбкой онъ перебиралъ, пересчитывалъ пестрые листы.

— И всемъ этимъ я обязанъ себе, — себе! Только своему таланту!

Гордость, -- гордость рабочаго поднималась въ немъ.

И благоговъніе охватывало его душу.

— Боже, благодарю Тебя за то, что Ты даль мнъ таланть!

Позвонили.

Звонъ, протяжный, долгій, жутко прозвучаль въ пустой квартиръ.

Иванъ Ивановичъ торопливо спряталъ бумаги и деньги, заперъ шкапъ, задернулъ коверъ и бъгомъ пробъжалъ къ письменному столу, чтобы спрятать ключъ.

— Должно-быть, кто-нибудь завхаль на огонекъ изъ театра или изъ клуба!

Снова задребезжалъ электрическій звонокъ.

Никто не отпиралъ.

— Василій или, по обыкновенію, спить, или, по обыкновенію, сидить въ кухнъ у сосъдской кухарки.

А отъ звонка одному ночью въ пустой квартиръ становилось все жутче и жутче.

Звонили теперь сильно, отрывисто.

Такъ звонять къ доктору, котораго пришли звать къ умирающему.

- Отопру самъ!

Иванъ Ивановичъ запахнулъ мѣховой халатикъ, вышелъ въ переднюю и отперъ дверь, — тяжелую, рѣзную, дубовую дверь.

Черезъ порогъ шагнулъ молодой человъкъ, посинълый, въ одномъ пиджакъ, съ продранными локтями.

Шагнулъ и упалъ на высокій стуль, стоявшій около двери.

Иванъ Ивановичъ затрясся.

Негодяй... Мерзавецъ... Задушитъ старика какъ котенка.

И даже не найдетъ въ стънъ несгораемаго шкапа. Схватитъ мелочь со стола, какую-нибудь серебряную вещь и завтра же попадется... Мерзавецъ!

Иванъ Ивановичъ, едва держась на ногахъ, спросилъ:

— Что... что вамъ нужно?..

Молодой человъкъ поднялъ на него глаза, страдальческіе и умоляющіе.

— Хоть я и голодный, — не бойтесь меня. Я не могу васъ задушить: у меня окоченъли руки и ноги.

Иванъ Ивановичъ съ изумленіемъ, которое росло и росло, смотрълъ въ лицо молодому человъку.

Гдв онъ видвлъ это лицо?

А онъ знаетъ, знаетъ...

Эти въ лихорадочномъ жару и бреду горящіе глаза. Эти исхудалыя щеки. Заострившіяся черты. Бѣлокурые волосы, падающіе на лобъ. Жидкую, рѣденькую, только пробивающуюся бородку.

Даже пиджакъ...

- Кто вы? кто вы?
- Я не тоть, у меня нътъ квартиры, я замерзаю. Я— литераторъ. Меня нигдъ не печатаютъ, нигдъ.

При словъ "литераторъ" бъщенство поднялось у Ивана Ивановича.

Такъ бъщенство замъняетъ страхъ, когда мы разглядъли таинственнаго врага, который казался страшнымъ, благодаря таинственности. Который оказался жалкимъ и ничтожнымъ.

- Литераторъ! Который врывается! По ночамъ! Ивану Ивановичу захотълось наказать его. Заставить страдать такъ, какъ онъ самъ только что страдалъ.
- A-a! Страсть къ оригинальничанью! A-a! Желаете обратить на себя вниманіе оригинальной выходкой?? Да?
 - Я не тлъ. Я замерзалъ.
- Литература не богадъльня, милостивый государь! Не пріють для всъхъ неудачниковъ! Не мъсто кормежки! Не попечительство о неимъющихъ опредъленныхъ занятій.
- Мнъ это ужъ говорили... Мнъ это ужъ говорили...
- А у васъ есть талантъ! Да, да? Не правда ли? Огромный, огромный талантъ? Непризнанный? Да? Неоцъненный? И вы врываетесь по ночамъ и пугаете... Ну, да, пугаете! Ну, да, пугаете людей! Какъ разбойникъ...
 - Если вы меня выгоните, я замерзну...
- Работать нужно, молодой человъкъ! Работать, а не разбойничать! Какъ же! Таланту все позволительно! Не такъ ли?! Талантъ! Талантъ! Мы, мы работали, работали, милостивый государь!

Иванъ Ивановичъ ударилъ себя въ грудь.

— Голодали, холодали! Но работали-съ! А не полагались на нашъ талантъ! Талантъ! Работой-съ, тру-

домъ-съ прокладывали себъ путь, — работой-съ, трудомъ-съ добивались всего, что мы имъемъ-съ. Надо дождаться, чтобъ напечатали, — идите пока мести мостовую, таскать кули. Работайте! И мы работали. И никогда, слышите ли, никогда...

Молодой человъкъ поднялся. Глаза его горъли мольбою и ужасомъ.

— Не гоните меня... Отогръйте... Вспомните... Не было ли съ вами... Когда вы были молоды... начинали... Вы были безъ квартиры и спали на улицъ... зимой... на табуретахъ около воротъ... Дворники гоняли васъ съ мъста на мъсто... и только это спасало васъ отъ замерзанія, отъ смерти... Вы ждали, — въ утренній, предразсвътный часъ, морозъ кръпчалъ, — когда гдънибудь зазвонятъ... Окоченълый вы бъжали на звонъ, вмъшивались въ толпу нищихъ, отогръвались и засыпали во время заутрени гдънибудь въ темномъ уголкъ церкви... А потомъ опять шли на трескучій морозъ... И вотъ однажды, не вытерпъвъ, не выдержавъ, — не позвонились ли вы у подъъзда извъстнаго литератора? Позвонились потому только, что у него былъ огонь...

Иванъ Ивановичъ задрожалъ.

— Откуда... откуда... A! Онъ узналъ это лицо.

— Да это мое лицо... Это я... Я самъ сорокъ лътъ назадъ... И тотъ... тотъ пиджакъ, который я потомъ продалъ татарину...

У него подкосились ноги. Онъ упаль на стуль.

А молодой человъкъ, низко наклонившись къ нему, продолжалъ:

— Вы вошли тогда, какъ вошелъ я,—и испугали... Если бы онъ васъ выгналъ тогда, вы бы замерзли... А онъ отогрълъ васъ... Вы помните, посадилъ къ камину... Вы весь дрожали... вы весь окоченъли... Вы помните, какъ онъ пошелъ и самъ принесъ вамъ поъсть... Вы помните его смъхъ? "Ничего, молодой человъкъ, то ли бываетъ?"... Вы помните, какъ вы чувствовали себя маленькимъ ребенкомъ, потеряннымъ и найденнымъ, прижатымъ къ груди матери... И какъ вы заснули въ креслъ передъ каминомъ, съ лицомъ, мокрымъ отъ слезъ... Вы помните? Вы помните?.. Всъмъ, — всъмъ, что вы имъете, вотъ этимъ всъмъ и вашей жизнью вы обязаны ему! Вы замерзли бы, если бъ онъ васъ выгналъ тогда!

Въ голосъ молодого человъка зазвенъли слезы, послышались всхлипыванія, рыданія.

Онъ стоялъ, облокотившись о притолоку, безсильный, готовый упасть, безпомощный, и рыдалъ.

— Во имя того... того вечера... Въ память того человъка, сдълайте для меня...

Иванъ Ивановичъ сидълъ мрачный, подавленный, угрюмый.

Онъ всталъ и подошелъ къ двери.

На лицъ его было страданіе.

Онъ отперъ дверь и толкнулъ молодого человъка.

— Идите!

Онъ толкнулъ его сильнъе и вытолкнулъ:

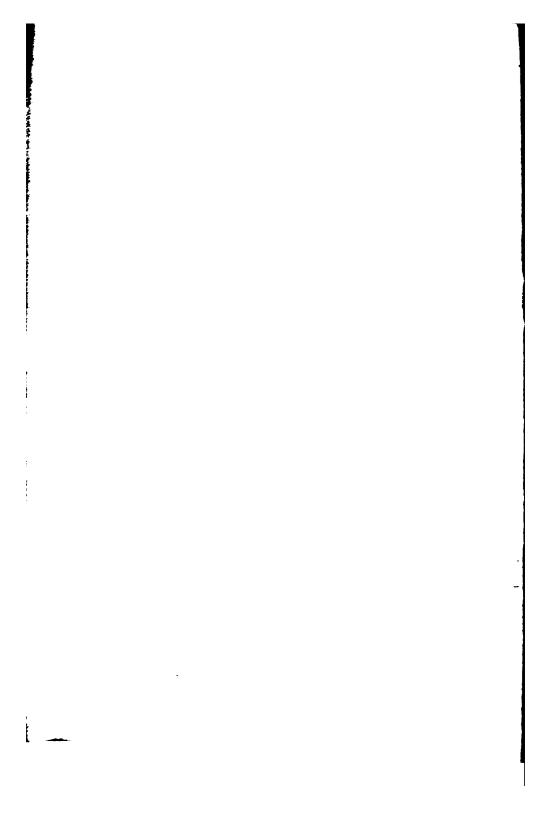
— Идите и лучше замерзайте! А то...

Иванъ Ивановичъ, дрожа, захлопнулъ дверь, изъкоторой несло ледянымъ вътромъ.

— Вы вырастете такимъ же, какъ я!



ночь.



Ночь.

Я не хочу лгать.

Я не стану проповъдывать, какъ голодные моралисты, что въ этой "буржуазной", сытой и довольной жизни нътъ ничего хорошаго. Я не буду увърять васъ, что задыхаюсь отъ дыма хорошей сигары, что старое вино, хорошія устрицы и свіжая икра возбуждають мое отвращение, что шелесть шелка терзаеть мой слухъ такъ же, какъ хорошая музыка, что мнъ доставляеть величайшее страданіе ступать по мягкому, бархатному ковру, и что я не знаю запаха ужаснье, чымь запахь духовы! Ныть, я отдался этой жизни со всемъ увлеченіемъ, котораго она заслуживаетъ. Я чувствовалъ себя отлично въ этой обезпеченной, довольной жизнью средъ. Въ кабинетъ хозяина, въ гостиной хозяйки, среди этихъ дамъ, выхоленныхъ, красивыхъ, прекрасно одътыхъ, думавшихъ только объ удовольствіяхъ. И мнв казалось бы ужаснымъ нарушить миръ и довольство этихъ милыхъ людей. Откровенно говоря, когда ко мнъ являлась бъднота и клянчила: "Напишите, чтобы пристыдить ихъ и напомнить о насъ", меня брала злость И это казалось мив огромной несправедливостью:

— Развъ они виноваты въ томъ, что они богаты? Зачъмъ же отравлять имъ существованіе?

И когда я писалъ, я думалъ о нихъ. Объ этихъ прекрасныхъ дамахъ, которыя завтра прочтутъ то, что я пишу. И я гналъ изъ моихъ писаній все, что могло бы навести ихъ на грустныя думы, отравить имъ ихъ спокойное наслажденіе жизнью. Зачъмъ отравлять имъ жизнь? Я берегъ покой того кружка, принадлежать къ которому мнъ доставляло столько удовольствія.

Это было въ рождественскую ночь. Быть-можеть, по старой, еще съ дътства оставшейся привычкъ, — въ эти ночи, ночь Рождества и ночь Пасхи, — чувствуещь какъ-то все особенно сильно.

Я ушелъ отъ моихъ знакомыхъ съ веселой, шумной елки рано, — около десяти часовъ. Мнъ хотълось остаться одному. Въроятно, это подкрадывается старость. Старость, когда мы начинаемъ замъчать то, чего не замъчаютъ въ молодости, — одиночество. Съ нъкоторыхъ поръ мнъ становится грустно смотръть на дътей. Мое сердце переполняется тихою грустью. Часто на улицъ я долго смотрю вслъдъ красивому нарядному ребенку. И если ребенокъ вышелъ встръчать отца, возвращающагося со службы, и съ крикомъ "папа" кинется къ нему, — я чувствую какое-то страданіе въ душъ, какую-то обиду и спъшу уйти, потому что что-то мнъ давитъ горло.

Я никогда не чувствовалъ себя такимъ одинокимъ, какъ въ эту минуту, когда дъти шумной, нарядной, веселой толпой съ криками окружили блестящую, сотнями огней горъвшую елку. Слезы подступили мнъ къ горлу, и я поспъшилъ уйти, сославшись

на головную боль. Уйти, чтобъ не видъть радостей, въ которыхъ мнъ никогда не суждено принять участіе.

Я шель домой, нагруженный этими бездёлушками, этими маленькими рождественскими подарками, ничего не стоящими, но трогательными, потому что они говорять о памяти и вниманіи. Мнё вспоминались веселыя лица, съ которыми хозяева праздника — дёти дёлали мнё эти крошечные подарки, у меня въ ущахъ звучали ихъ звонкіе голоса, и слезы подступали къ горлу все сильнёе и сильнёе.

Я никогда не чувствоваль себя такимъ одинокимъ, какъ въ этотъ вечеръ, входя въ свою комнату. Мнъ показалось въ ней холодно и страшно.

— Одинъ!

И эта мысль почему-то испугала меня.

Я не зажегъ огня и ходилъ по комнатъ, ярко освъщенной блъдно-голубымъ свътомъ луны, падавшимъ въ окно. Свътъ ли луны такъ дъйствуетъ на нервы, но я чувствовалъ какое-то волненіе, робость, страхъ. Звуки моихъ шаговъ пугали меня.

— Состояніе, какое, въроятно, бываетъ передъ появленіемъ привидъній!—хотълъ я улыбнуться про себя, но мнъ стало еще страшнъе при этой мысли.

Боже! Да что жъ это? Неужели я схожу съ ума? Мий послышался тихій плачъ въ углу комнаты. Еще, еще... какой-то шопотъ... Я слышу ихъ голоса... Я различаю ихъ лица... Они наполняютъ мою комнату... Они ближе и ближе подступаютъ ко мий... Я чувствую ужасъ отъ этой смрадной толпы дътей, стариковъ, одътыхъ въ рубища, женщинъ съ пьяными, испитыми лицами... Я хочу крикнуть, а они шепчутъ мий:

-- Молчи!..

И надвигаются все ближе.

Да, да, я узнаю ихъ. Моихъ старыхъ знакомыхъ. Падшихъ дътей, со скорбнымъ взглядомъ и циничной ръчью на устахъ, грязныя, оборванныя привидънія ночлежныхъ домовъ... Вотъ эта женщина, прижимающая къ груди чахлаго ребенка... Истерзанная, растрепанная, окровавленная... Голова повязана мокрымъ платкомъ... Отъ нея пахнетъ виномъ... Она ушла промыслить ужинъ для своего ребенка и вернулась пьяная, но безъ денегъ: ее напоили, но не дали денегъ... Она клянетъ себя и ребенка, грозя сейчасъ расшибить ему голову о печку... Я знаю ее... А этотъ звоиъ кандаловъ... А эти измученныя лица, горящія отчаяніемъ и злобой... И вся эта страшная толпа, отъ которой въетъ преступленіемъ и порокомъ, все ближе и ближе подходитъ ко мнъ.

— Развъ мы не отдали тебъ часть своей жизни, откровенно довъряя тебъ наши тайны...

Развъ я самъ не чувствовалъ, что ужъ принадлежу не себъ одному, выходя изъ этихъ тюремъ, ночлежныхъ домовъ, притоновъ. Развъ я не чувствовалъ, что части моего сердца принадлежатъ имъ.

— Развѣ мы не повърили тебъ, какъ другу, когда ты приходилъ къ намъ? А ты... Развѣ ты не обманулъ нашего довърія? Развѣ ты не забылъ насъ, отдавшихъ тебѣ свое довъріе, свою душу, среди людей, отдавшихъ тебѣ только свою любезность?.. Развѣ шелестъ шелка не заглушилъ нашихъ голосовъ, полныхъ скорби и муки, нашихъ стоновъ, нашихъ воплей, нашихъ криковъ отчаянія?.. Мы довърились тебъ, а ты, ты обманулъ довъріе гибнущихъ... Ты жаловался на одиночество, смотри,—нътъ, ты не одинокъ!..

Хохотъ послышался мнъ въ этихъ словахъ. Внъ себя отъ ужаса, расталкивая толпу, я кинулся изъ комнаты.

Я бѣжалъ по улицамъ, какъ бѣжитъ измѣнникъ, предатель. Я чувствовалъ, что "они" правы, тысячу разъ правы...

Меня остановиль какой-то женскій голось:

- Мужчинка, куда торопитесь? Захватите меня.

Вотъ она, эта нищета, съ такимъ дов*ріемъ открывшая мнъ свою душу.

Иззябшая, продрогшая, въ своей коротенькой кофточкъ, дъвушка силилась мнъ улыбнуться въ то время, какъ голодъ свътился въ ея глазахъ.

Въ такую ночь...

— Идемъ! — сказалъ я ей.

Мы пошли. Какой-то не то стонъ, не то плачъ, не то завыванье послышалось намъ на одномъ изъ перекрестковъ.

На краю тротуара виднълся черный комокъ чегото. Это былъ мальчикъ, издрогшій, полуприкрытый лохмотьями, замерзающій. Приставивъ свои холодные какъ ледышки кулачонки ко рту, онъ дулъ на нихъ, издавая не то стонъ, не то какое-то завыванье.

— У-у, у-у! — слышалось только.

Онъ вылъ не потому, что надъялся, что его ктонибудь услышитъ. Онъ потерялъ на это надежду. Онъ вылъ инстинктивно. Въдь не можетъ же человъкъ умирать молча!

Мы съ женщиной хотъли поставить его на ноги. Онъ падалъ. Замерзшія ноги его не держали.

Тогда я схватилъ его на руки и крикнулъ:

— Идемъ! Скорве!

Въдь долженъ гдъ-нибудь быть открытъ какой-нибудь притонъ для тъхъ, у кого нътъ угла въ такую ночь.

Въдь собираются же гдъ-нибудь нищета, преступленіе и порокъ, чтобы сбиться въ кучу и согръть другь друга въ такую холодную ночь.

— Я знаю такой трактиръ!— сказала мнъ моя спутница.

И мы пошли, почти побъжали. Я съ полуумирающимъ мальчишкой на рукахъ. Она—продрогшая, стуча на ходу зубами.

Мы бъжали по пустымъ улицамъ города, уходя все дальше и дальше въ кварталы, населенные нищетой.

— Здёсь! — сказала женщина.

Мы прошли черезъ вонючій, грязный дворъ и нащупали обитую рваной рогожею дверь.

Моя спутница стукнула три раза, — условнымъ сту-

За дверью послышались шаги и голосъ:

- Кто тамъ?
- Сашка карманщица.
- Одна?
- Нъ. Съ пассажиромъ.
- Съ пассажиромъ?

Дверь отворилась, пахнувъ на насъ клубомъ сырого, какого-то кислаго пара.

Пахло промозглымъ пивомъ, дымомъ скверныхъ папиросъ.

Это быль трактиръ — притонъ, торгующій цѣлую ночь.

Пріютъ воровъ, падшихъ женщинъ, шулеровъ самаго низкаго разбора. Полусонный хозяинъ стоялъ за стойкой. Нъсколько пьяныхъ за столами, покрытыми грязными скатертями, кричали, ругались, хвастались другь передъ другомъ тъмъ, что лучше было бы скрывать.

— Тише, черти! — крикнулъ на нихъ половой въ опоркахъ на босу ногу.—Не видите, баринъ.

Пьяные попритихли, съ любопытствомъ глядя на меня, на женщину, на замерэшаго мальчишку.

- Давай всего, что только есть, и водки.
- Въ сей моментъ! -- крикнулъ половой.

Хозяинъ засуетился.

Столъ уставляли закусками.

Мы съ женщиной принялись оттирать руки мальчишкъ. Она залномъ выпила три рюмки водки и начала понемножку согръваться.

Мальчишка пришель въ себя, жадными глазами смотрълъ нъсколько минутъ на разставленную ъду, затъмъ схватилъ ножку заливного поросенка и кинулся было бъжать.

Женщина поймала его за шиворотъ:

- Вшь туть, постреленокъ!
- И, слегка опьянъвшая, хохотала, глядя, какъ онъ рвалъ огромными кусками мясо поросенка и глоталъ, почти не жевавши, давясь.
- X0-х0-х0! Боится, что вздують! Ахъ, пострълъ! Молодая еще дъвушка, съ узкимъ лбомъ, низко, надъ бровями, растущими волосами,— настоящій типъ вырождающейся.
- Шишнадцать лътъ всего! сказала она, замътивъ, что я смотрю на нее.
 - А давно?
 - Третій годъ.

— A, чортъ — тварь...— расхохоталась по ея адресу компанія за сосъднимъ столомъ.

Мальчишка продолжалъ уплетать за объ щеки, съ опаской поглядывая на меня.

- Вшь! Вшь!..
- Какъ зовутъ? спросила его "Сашка".
- Петькой.

Они говорили, продолжая жевать, перебрасываясь фразами въ антрактахъ, когда брали руками заливного поросенка, рыбу, ветчину, вареное мясо.

- Родные есть? Тятька?
- Тятьки нфтъ.
- А мамка?
- Мамка проситъ.
- Братья?
- Одинъ братъ. Въ новой тюрьмъ сидитъ.
- Сестры?
- Двъ. Одна ходить. Другая въ больницъ лежить.
 - Форточникъ, что ли?
- Нътъ, малъ больно. Подросту, въ форточники выйду. Покамъстъ такъ, съ лотковъ гдъ жратъ таскаю...
 - А ночуешь гдъ? Въ ночлежномъ?
 - Зачвиъ?
 - A гдѣ жъ?
- Вчерась въ бульварномъ. Третьяго дня въ Александровскомъ. Нынче опять въ Бульварный шелъ. Не дошелъ, зазябъ.

"Сашка" кончила ъсть и вытирала теперь руки о грязную скатерть. Она только пила, не закусывая. Я приказаль подать вина.

— Вотъ это здорово! Совсъмъ по-праздничному.

Мальчишка продолжаль глотать съ такой же жадностью.

Въ дверь раздался сильный стукъ. Такъ стучитъ только отчаяніе.

Посътители вскочили съ испуганнымъ видомъ.

До меня донесся шопотъ: "полиція?"

Въ ихъ взглядахъ на меня я прочелъ подозръніе: ужъ не я ли привелъ за собой полицію?

Хозяинъ стоялъ около лампы-молніи, готовясь ее погасить въ нужный моментъ.

Растерявшійся половой побъжаль отворять дверь.

Донесся какой-то разговоръ, и въ комнату ворвался человъкъ съ видомъ затравленнаго звъря, котораго преслъдуютъ по пятамъ.

— Ванька!—свободнъе вздохнула компанія.—Напугалъ, чортъ!

Но хозяинъ преградилъ ему путь.

- Гонять?
- Гонять. Да мы бросились въ разныя стороны.
- Убирайся!
- Да за мной со слъда сбились...
- Сей моментъ убирайся!..

Хозяинъ схватилъ его за шиворотъ. Половой подскочилъ, готовый къ услугамъ. Но я схватилъ хозяина за рукавъ:

— Стойте... Садись сюда. Если придетъ полиція, я покажу, что съ вечера сижу здъсь съ нимъ. Что онъ никуда не отлучался. Садись!

"Ванька" посмотрълъ на меня съ изумленіемъ, съ недовъріемъ:

— Не сыщикъ ли?

— Садись, коли баринъ выправить объщаетъ!— улыбнулся хозяинъ.

И "Ванька" робко сълъ на край стула. "Сашка", принявшая на себя роль хозяйки, налила ему рюмку водки.

- Пей!
- Съ праздникомъ! Рождествомъ Христовымъ, сказалъ Ванька.
- A въдь и впрямь! Съ праздникомъ, съ Рождествомъ!

Всѣ потянулись чокаться рюмками, стаканами пива, вина.

- Съ Рождествомъ!
- И васъ также!
- А ты, постръленокъ, чего хочешь?—обратилась къ мальчишкъ "Сашка".
 - Красной водки, которая сладкая!
 - Дать ему красной водки, которая сладкая!
 - А чего жъ не жрешь, анаеема?
 - Усталъ!

Онъ сидълъ теперь пыхтя и отдуваясь, словно послъ тяжелой работы.

- Дозволите?—спрашивалъ Ванька, неръшительно протягивая руку къ остаткамъ ъды.
- Ђшь, тыь! Все, что хочешь, тыь!—хозяйничала Сашка.—Разговляйся!

И налила Ванькъ водки. Онъ каждый разъ произносилъ все веселъе и веселъе:

— Съ праздникомъ всю честную компанію!

И всъ, веселъ́я и веселъ́я, чокались. Мальчишка не отставаль отъ другихъ, потягивалъ наливку,—теперь онъ весь раскраснъ̀лся, согръ́лся совсъмъ, весело

поглядывалъ кругомъ и вдругь неожиданно заоралъ, указывая на "Ваньку":

- А онъ жуликъ! Я его знаю, онъ жуликъ!
- Не осуждай, подлецъ, въ такой великій праздникъ! наставительно отвъчалъ ему хмелъвшій "Ванька", а "Сашка карманщица", совсъмъ пьяная, вдругъ вскочила и заорала безъ-толку, безъ смысла, жестикулируя руками:
- Что жъ это такое? Зазвали и вдругъ рядомъ съ жуликомъ посадили. Гдъ жъ это видано?
 - -- Молчи, ты...

И онъ крикнуль ей слово, отъ котораго она схватилась за бутылку. "Ванька" тоже угрожающе поднялся съ мъста. Мальчишка полъзъ подъ столъ, крича:

— Жуликъ! Жуликъ! Убьетъ!

Они кричали другъ на друга, обдавая другъ друга потоками презрительной, самой обидной брани. Эти подонки старались втоптать другъ друга въ грязъ какъ можно глубже.

Но я изо всей силы стукнулъ кулакомъ по столу, такъ что мальчишка съ любопытствомъ выглянулъ изъ-подъ стола, и крикнулъ:

— Баста! Ни слова больше! Нътъ никого здъсь, кромъ братьевъ. Веселитесь во имя Бога, братства и любви. Бога, пришедшаго въ міръ съ душой незлобивой, какъ душа младенца!

И я чокнулся со своими собесъдниками.

Мы продолжали веселиться, чокаться и шумъть, поздравляя съ праздникомъ другъ друга.

Меркли звъзды одна за другой, гдъ-то звонили къ заутренъ, когда я вышелъ изъ трактира. Вышель, оставивь совсьмь пьяную Сашку, еле бормотавшую какія-то несвязныя слова, "Ваньку", который почему-то плакаль, биль себя въ грудь и говориль:

— Сказывалъ, надоть ключъ подобрать... Нътъ, они замки ломать, дьяволы!..

Осовълый отъ красной водочки мальчишка залъзъ спать подъ столъ.

Гости за сосъднимъ столомъ спали, кто положивъ голову на руки, кто откинувшись на стулъ и храпя во все горло.

И я съ удовольствіемъ вспоминаль эту картину: всякій встрѣтилъ праздникъ какъ хотѣлъ. Да и я встрѣтилъ праздникъ не одинъ.

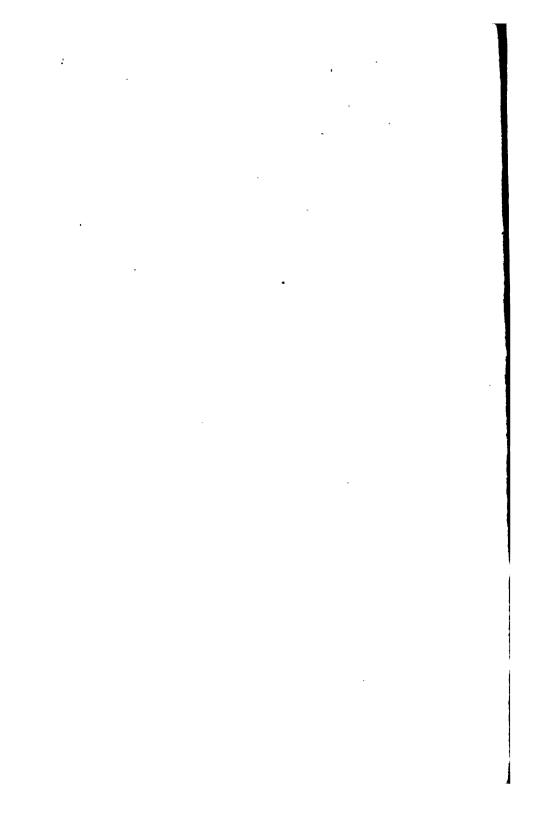
- А на следующій день мой добрый старый другь, зашедшій поздравить меня съ праздникомъ, который, онъ знаетъ, я такъ люблю, добрый другь, умеющій читать на моемъ лице, спросиль:
 - Ого! Какое у насъ лицо. Опять кутежъ?
 - Я улыбнулся.
 Небольшой.
 - Опять шампанское? Женщины?
 - Немного.

Онъ грустно покачалъ головой:

— Ты губишь себя, милый мой.



Т Ѣ Н Ь.



Тѣнь.

Насъ двое въ комнатъ: я и моя тънь.

Свътъ брезжитъ гдъ-то сзади. Я сижу верхомъ на стулъ и смотрю на нее.

Она стелется по полу, всползаеть на ствну и оттуда киваеть мнъ своею огромною, безобразною головой.

Когда я поднимаю голову, она моментально всползаеть еще выше, растеть и пухнеть,—этоть черный, отвратительный призракъ.

Она слъдить за мной, повторяеть каждое мое движеніе, издъвается надо мной, и я въ безсильной ярости сжимаю кулаки.

Мнъ никуда не уйти отъ нея!

Когда я, обезумъвъ отъ оъщенства, кидаюсь на нее, она моментально исчезаетъ, свертывается клуб-комъ у моихъ ногъ, ползаетъ около нихъ, словно кочетъ схватить меня за ноги и повалить.

Когда я начинаю метаться по комнать, она огромными шагами перескакиваеть черезь всю комнату, словно чудовище, которое сторожить каждый мой шагь и каждую минуту преграждаеть мнъ дорогу.

Она вездъ. Она появляется на двери, около окна на стънахъ, въ углахъ, нагибается надо мной, перетягиваясь черезъ потолокъ.

Я не могу сдълать движенія рукой. Ея огромныя, безобразныя, цъпкія лапы ползуть по стънамъ, ежеминутно готовыя схватить меня и задушить какъ щенка.

Окаменълый отъ ужаса, я стою передъ нею, боясь пошевелить рукой и ногой, и смотрю, какъ она покачиваетъ головой при каждомъ колебаніи пламени тусклой лампочки, горящей въ фонаръ.

Я не могу, не могу отвернуться отъ нея.

Мнъ страшно. Я чувствую, что она стоитъ за спиной у меня, и мнъ неудержимо хочется оглянуться!

Я помию, какъ увидалъ ее въ первый разъ, — этого проклятаго двойника, который знаетъ всю мою жизнь, который не оставлялъ меня ни на минуту ни на секунду.

Даже тогда, когда я думалъ, что я одинъ, онъ былъ здъсь, — этотъ двойникъ, — все видълъ, все подсматривалъ и издъвался надо мной, передразнивая каждое мое движение.

Тогда я тоже думаль, что я одинь.

Жена лежала въ забытьъ, прикрытая атласнымъ стеганымъ одъяломъ. На его свътломъ фонъ, около самой ея головы, виднълось большое пятно отъ какого-то пролитаго лъкарства.

Мнъ были противны и это грязное пятно и это красное отъ жара лицо, съ запекшимися губами, закрытыми глазами, посинъвшими, распухшими въ-ками, косичками мокрыхъ волосъ, приставшихъ къ потному лбу.

Изръдка она тихо стонала, и я брезгливо подавалк ей ложку какого-то питья, съ отвращениемъ приподнимая другою рукой потную, мокрую голову.

Когда она шевелилась подъ одъяломъ, ея тъло казалось мнъ какимъ-то огромнымъ червякомъ, котораго мнъ хотълось раздавить.

Она возбуждала во миъ гадливость и ненависть, -- эта женщина, допившаяся до горячки.

Если я не душилъ ея, то только потому, что безъ отвращения не могъ подумать, какъ я коснусь руками ея жирной, влажной, горячей шеи съ надувшимися жилами.

Взять подушку и задавить ее.

Когда эта мысль пришла мив въ голову, меня неудержимо потянуло къ постели.

Схватить подушку, кинуть ей на голову, нажать кольнкой разъ, два, подержать такъ минутъ пять или десять,—и все кончено, это большое, расплывшееся тъло перестанетъ хрипъть, сопъть, дышать съ какимъ-то отвратительнымъ присвистомъ, каждымъ стономъ, каждымъ вздохомъ заставляя меня передергиваться съ ногъ до головы.

Я то готовъ былъ кинуться на нее, чтобъ кончить все сразу, то тихо подбирался къ кровати, осторожно протягивая руку къ постели, боясь, чтобъ жена не очнулась и не закричала.

Но что-то удерживало меня. Что именно— не знаю. Что-то...

Напрасно я призываль на помощь весь свой умъ, всю свою логику.

Въдь я же умный человъкъ. Я понимаю, что все равно,—теперь, черезъ полгода, черезъ годъ, черезъ

два. Ну, она выздоровъетъ. Снова начнется безпробудное пьянство, дикія, безобразныя, отвратительныя сцены. Въдь она не можетъ не пить. У нея алкоголизмъ. Зачъмъ же я-то, я-то еще полгода, годъ, бытьможетъ, цълыхъ два долженъ выносить все это? .

Два года...

Въ ужасъ я даже закрылъ глаза. Мнъ такъ и представилось это пьяное лицо, съ безсмысленными оловянными глазами, перекосившимися блъдными губами, безсильно отвисшими одутловатыми щеками.

О, какъ я ненавидълъ это лицо, эту женщину въ эти минуты!

А что-то мѣшало мнѣ сдѣлать шагъ и взять подушку.

Что-то крѣпко держало меня словно прикованнымъ на мѣстъ, не давало поднять руки.

Да въдь не мальчикъ я на самомъ дълъ. Въдь не върю же я въ эту "совъсть", которую выдумали для того, чтобъ пугать дураковъ и слабонервныхъ людей.

Въдь сколько разъ я думалъ задушить ее, когда она, пьяная, безобразная, пахнувшая алкоголемъ, храпъла около меня. И каждый разъ я думалъ объ этомъ спокойно, холодно, не чувствуя сожальнія къ этой женщинъ полуживотному, отравившей, исковеркавшей, изломавшей всю мою жизнь.

Ее слъдовало задушить прямо-таки изъ сожалънія и къ ней и къ самому себъ. Что это за жизнь? И за что долженъ мучиться я?

Если что меня останавливало тогда, такъ это боязнь отвътственности, боязнь погубить себя изъ-за этого полутрупа, который и безъ того уже разлагается.

И вотъ сегодня... Сегодня случай прекратить эту мучительную, ужасную, безобразную агонію, которая можетъ протянуться еще года два.

Сегодня докторъ, увзжая, сказалъ:

— Боюсь, чтобъ съ ней не случилось апоплектическаго удара.

Онъ можетъ случиться.

Отчего же не заставить его случиться?

Сегодня или никогда. Здѣсь нѣть даже преступленія. Здѣсь просто отвращеніе и жалость. Неужели какое-то неизвѣстное "что-то" можеть пересилить всѣ доводы разума, логики, можеть помѣшать сдѣлать мнѣто, что я передумаль, перечувствоваль, давно уже перестрадаль? Неужели я не могу?

Не знаю, сколько времени я думаль и боролся самъ съ собой, но я вздрогнуль и очнулся подъ ея пристальнымъ взглядомъ.

Въ двухъ шагахъ она, очнувшись, смотръла на меня широко раскрытыми отъ ужаса глазами, словно читая на моемъ лицъ мои мысли. Она приподняла голову и шевелила губами, тщетно стараясь крикнуть.

Въ ея глазахъ было столько мерзкаго, животнаго ужаса, что у меня пробъжали какія-то противныя мурашки по всему тълу и во мнъ проснулось бъщеное желаніе задавить это противное, мерзкое животное, дълавшее судорожныя движенія.

Я кинулся на нее и, придавивъ подушкой ея лицо, навалился на подушку всею тяжестью своего тъла.

Два-три конвульсивныхъ движенія ея тъла заставили меня еще сильнъе съ отвращеніемъ нажать подушку.

Затъмъ все какъ-то кругомъ пошло у меня въ головъ, я вдругъ почувствовалъ страшную усталость и впаль въ какое-то забытье.

Не помню, сколько времени оно продолжалось, но я очнулся съ мыслью:

— Не видаль ли меня кто-нибудь?

Кругомъ было тихо. Я, на всякій случай, оглянулся. Никого.

Какъ вдругъ я вскрикнулъ.

Напротивъ, на стънъ, навалившись на что-то всею своею массой, лежало черное чудовище, медленно поворачивая свою огромную голову.

Я закричалъ, кинулся съ подушкой въ рукъ къ двери, но оно, тоже схвативъ что-то огромное черное, однимъ шагомъ перешагнуло черезъ всю комнату и стало прямо предо мною, загородивъ дорогу.

Тогда я закричаль отъ ужаса и упаль безъ памяти.

Сбъжавшаяся прислуга нашла меня около двери лежащимъ безъ чувствъ, съ кръпко зажатою подушкой въ рукъ. Трупъ жены уже холодълъ. Доктора нашли, что она умерла отъ апоплектическаго удара, и утъщали меня въ моемъ "горъ", говоря:

— Этого и слъдовало ждать.

Я, впрочемъ, не помню, что именно говорилось, что дълалось вокругъ въ теченіе этихъ трехъ дней.

Я быль занять своими мыслями. Ночная сцена не вызывала во мнѣ ни ужаса ни отвращенія,—я просто старался не думать о ней, и это мнѣ удавалось. Въ общемъ я чувствовалъ себя спокойнымъ и какъ-то равнодушнымъ ко всему.

Такъ шло до самыхъ похоронъ.

Я стояль около могилы, гдъ-то въ толпъ, когда всъ разступились, чтобъ пропустить меня бросить первую горсть земли.

Что-то пъли. Кто-то плакалъ.

Я спокойно сдълалъ два шага къ желтой кучъ песку, которая возвышалась на краю могилы, и вдругъ передо мной скользнула по землъ и потянулась въ могилу она, моя тънь.

Она, та самая, которая видъла все, она снова появилась передо мной, чтобъ повторить мнъ все, и тянула меня за собой въ могилу.

Говорять, я страшно закричаль.

Но я помню только, что услышаль словно какой-то чужой, страшный, раздирающій душу вопль и кинулся впередь, чтобъ задушить "ее"...

Не помню, что я потомъ говорилъ, кричалъ, дълалъ, что со мной было, — когда я очнулся, я сидълъ на какомъ-то могильномъ памятникъ, окруженный толпою провожатыхъ, кто-то подавалъ мнъ воды, кто-то совътовалъ прійти въ себя.

Мнъ сразу бросились въ глаза изумленныя лица, послышались разговоры, восклицанія:

- Этого не можетъ быть!
- Онъ просто помъщался!
- Однако!
- Невозможно!.. Онъ такъ терпъливо сносилъ!..
- Бываеть, что убійцы въ такія минуты...
- Просто бредъ!
- Тсъ. Онъ очнулся!

Я поняль, что, въроятно, что-нибудь сказаль, тревожнымъ взглядомъ оглянулъ всъхъ, поднялся, чтобы что-то сказать,—и вдругъ увидълъ, какъ какое-то

темное иятно скользнуло по памятнику. У меня остановилось сердце: черезъ памятникъ переползла моя тънь, ея голова виднълась на пальто моего знакомаго, словно она добиралась, чтобъ сказать ему на ухо мою тайну.

Я снова закричаль отъ ужаса, кинулся на моего знакомаго, увидълъ, какъ тънь, вдругъ спрыгнувъ съ него, шаромъ подкатилась мнъ подъ ноги, и упалъ...

Когда я очнулся на этотъ разъ, я лежалъ въ своемъ кабинетъ. Пахло лъкарствами. Въ окна билъ ослъпительный солнечный свътъ.

У стола моя дальняя тетка мастерила какое-то питье. Около меня была сидълка.

Сначала я никакъ не могъ сообразить, что произошло, но сидълка начала поправлять подушки, и мнъ сразу вспомнилось все. И вдругъ я лежу на той самой подушкъ...

— Тетя... тетя...—крикнулъ я, вскакивая на постели,—это не та самая подушка?.. Не та?..

А по стънъ выросла черная, безобразная тънь и чутко прислушивалась, та ли это самая подушка, или нътъ.

Съ тъхъ поръ "она" не даетъ мнъ покоя.

Я разговариваль со слъдователемь и чувствоваль, что она стоить у меня за спиной и внимательно слушаеть, все ли и такъ ли я разсказываю.

Когда слъдователь покачивалъ головой, я приходилъ въ бъщенство. Развъ я могь бы, развъ я смълъ бы врать въ ея присутстви?

Я кричалъ:

— Спросите у нея! Она все видъла! Все знаетъ!

Я оглядывался на тънь, она кривлялась, безобразно махала руками, передразнивая меня, издъваясь надо мной, надъ тъмъ, что мнъ не върятъ.

Когда меня осматривали какіе-то доктора, я умоляль только, чтобъ они осматривали меня въ темной комнатъ.

Да нътъ! И въ темнотъ мнъ нътъ отъ нея спасенія.

Я чувствую ея присутствіе здѣсь, около, чувствую, что достаточно одного луча свѣта, и она снова появится передо мной, начнетъ издѣваться, насмѣхаться надо мной.

Она знаетъ все, видъла всъ минуты моей жизни, минуты, которыхъ я стыжусь, минуты, о которыхъ боюсь вспомнить.

Она исчезнетъ только вмъстъ со мной.

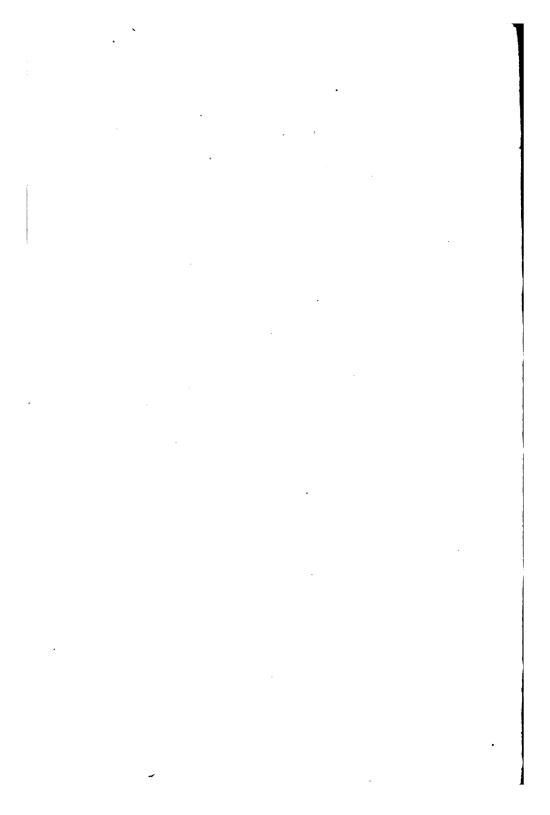
Вмъстъ со мной...

Когда ее положать вмъстъ со мной въ гробъ, тамъ ужъ никогда не будеть свъта. Она умретъ.

Какая идея! Удариться со всего разбъта головой объ стъну?..

Записки эти найдены въ камеръ паціента лъчебницы для душевно-больныхъ. Несчастный покончилъ жизнь самоубійствомъ, разбивъ себъ голову о притолоку двери. Ударъ былъ такъ силенъ, что черепъ раскроился пополамъ.





Въ послъдній часъ.

1 . . • .

Въ послъдній часъ.

Луна дрожащимъ свътомъ серебрила каналъ. На темномъ бархатномъ небъ брильянтами сверкали звъзды. Откуда-то неслась пъснь гондольера. Ей аккомпанировали мелкія волны, плескавшіяся о мраморныя ступени дворцовъ.

Никогда Венеція не была такъ прекрасна, какъ въ эту минуту.

Гдъ-то пълъ гондольеръ, пъли волны, пълъ голубой лунный свътъ, обливая бълыя стъны молчаливыхъ, суровыхъ палаццо.

Пъто все, — воздухъ, и море, и свътъ. Эта чудная пъснь звучала сильнъе, сильнъе, сильнъе... и овъ очнулся.

Пахло и больницей и казармой. На стънъ за проволочною съткой коптился ночникъ. Въ окна глядълъ кусочекъ бълаго, безцвътнаго лътняго ночного неба, изръзанный переплетомъ желъзной тюремной ръшетки.

На другой койкъ, стоявшей въ палатъ, метался въ бреду какой-то человъкъ.

Онъ то старался подняться, то снова падалъ на подушки и бормоталъ, безсильно махая руками:

— Вонъ... вонъ изба... Видишь, безъ крыши... Прівли солому-то... Рубили и вли... Жрать... жрать было нечего... Жрать... Вонъ она... вонъ изба-то... Лавину становилось страшно.

Гдѣ онъ, что съ нимъ было и какъ онъ попалъ сюда? Мысли плохо вязались въ головѣ, какой-то шумъ мѣшалъ думать, но онъ старался припомнить.

Его повели къ слъдователю для допроса. Весь этотъ день ему чувствовалось какъ-то не по себъ. Какая-то слабость, какой-то шумъ въ головъ, какія-то несвязныя мысли. Онъ сидълъ въ коридоръ на скамейкъ, и вдругъ ему начало казаться, что двое солдатъ, стоявшихъ по бокамъ съ ружьями, стали расти, превратились въ какихъ-то великановъ, заслонившихъ собою все. Такъ что, когда чей-то голосъ выкрикнулъ: "Арестованный Лавинъ, къ слъдователю!" — онъ, поднявшись, даже съ удивленіемъ увидълъ, вмъсто великановъ, двухъ маленькихъ гарнизонныхъ солдатъзамухрыгъ.

Онъ постарался подбодриться и войти къ слъдователю съ обычнымъ смълымъ, гордымъ, спокойнымъ видомъ.

Много онъ ихъ видълъ на своемъ въку!

Онъ твердо подошель къ столу со своею обычною осанкой, но тутъ почувствоваль, что ноги у него под-кашиваются, и безсильно опустился на стуль въ ту самую минуту, когда слъдователь только еще говорилъ:

— Садитесь!

Въ головъ шумъло все сильнъе и сильнъе, и невыносимо тянулись эти минуты, пока слъдователь съ утрированно-дъловымъ видомъ рылся въ какихъ-то бумагахъ.

— Вы, г. Лавинъ, обвиняетесь въ побътъ на пути слъдованія въ ссылку и проживательствъ по чужому виду, — наконецъ проговорилъ слъдователь, все еще перелистывая какія-то бумаги и не глядя на него. — Что вамъ будетъ угодно сказать по этому дълу?

Онъ хотълъ было отвътить по обыкновенію какоюнибудь бравадой, но почувствовалъ, что голова становится тяжела какъ свинецъ, схватился за столъ и прислонился къ нему грудью... Голова безсильно опустилась, онъ чувствовалъ, что еще минута, и онъ упадетъ.

— Что съ вами?.. Вы больны? — спросилъ слъдователь, взглянувъ на него и вскакивая съ мъста.

Онъ едва могъ прошептать:

- Да... мит скверно...

Онъ слышаль, какъ слъдователь кому-то кричаль: "Скоръе доктора!" какъ кто-то бъгаль, суетился, какъ отворялась и затворялась дверь, какъ, наконецъ, вбъжаль какой-то господинъ, какъ онъ шопотомъ спросиль у слъдователя: "Лавинъ? Тотъ самый?" помнить, что этотъ господинъ щупалъ у него пульсъ, велъль показать языкъ, просилъ зачъмъ-то привстать, снять сюртукъ. Онъ повиновался молча, машинально. Онъ слышалъ затъмъ, какъ докторъ сказалъ слъдователю: "Тифозная горячка", — и вдругъ ему показалось, что докторъ превращается въ кондуктора желъзной дороги.

Да, да! Онъ запомнилъ это лицо кондуктора одной изъ швейцарскихъ дорогъ. Онъ вздрогнулъ и сталъ всматриваться пристальнъе.

Да, да! Это вагонъ, кругомъ пассажиры. Въ ушахъ ясно слышенъ адскій грохотъ быстро летящаго поъзда. Только почему это въ вагонъ все входятъ и выходятъ?

Ага! Въ отворенную дверь онъ увидёлъ двоихъ солдатъ съ ружьями. За нимъ погоня. Онъ попался. Его сейчасъ арестуютъ. Надо выпрыгнуть въ окно.

Онъ отлично помнить, какъ вскочиль съ мъста и съ крикомъ кинулся къ окну. Но его кто-то схватилъ... Дальше все какъ въ туманъ. Онъ помнитъ только, что отбивался, что ударилъ кого-то головой въ животъ, — страшный матросскій ударъ, который онъ видълъ когда-то въ Александріи и который почему-то ему вспомнился въ эту минуту, — что кто-то закричалъ страшнымъ голосомъ, что какіе-то люди кинулись на него и начали его валить. Дальше онъ не помнилъ ничего.

-- Вонъ... вонъ изба, которая безъ крыши... Безъ крыши которая, —хрипълъ на сосъдней койкъ больной, метаясь по постели и размахивая руками.

Лавину становилось все страшнъе и страшнъе.

Что-то сърое, безцвътное, бълесоватое ползло, проползало сквозь ръшетку окна, тянулось къ нему и къ его сосъду... Неужели это была смерть?

Лавинъ не быль трусомъ. Въ своихъ авантюрахъ, изумлявшихъ цълую Европу, онъ не разъ видалъ смерть лицомъ къ лицу. И не боялся. Она огромнымъ чернымъ призракомъ вставала въ минуту опасности, и этотъ призракъ его не пугалъ.

Вотъ хоть бы этотъ побътъ въ Швейцаріи. Поъздъ съ головоломною быстротой летълъ сквозь туннели, по гигантскимъ мостамъ, переброшеннымъ черезъ страшныя пропасти, то мчался по самому краю бездоннаго обрыва, то словно слеталъ на самое дно цвътущихъ долинъ. Горы то громоздились надъ нимъ, то толпились подъ нимъ.

Лавинъ (зналъ, что въ сосъднемъ ва: онъ сидятъ переодътые полицейскіе, чтобъ арестовать его на слъдующей станціи. И въ немъ проснулась страстная, неудержимая жажда свободы. Былъ только одинъ способъ къ спасенію: пользуясь темнотою ночи, спрыгнуть на всемъ ходу съ поъзда. Сумасшедшій скачокъ на тотъ свътъ. Но онъ не колебался. Покуривая сигару, онъ вышелъ на площадку вагона.

Повздъ летвлъ съ быстротой 80 верстъ въ часъ. Огненными полосками мелькали мимо сигнальные фонари. Страшный шумъ, словно все рушилось кругомъ, оглушалъ Лавина, когда повадъ мчался черезъ туннель... Второй туннель, третій... Повадъ спустился въ долину... Черезъ четверть часа станція... Передъ глазами ровная лужайка... Въ темнотъ ночи словно мелькнуль какой-то огромный черный силуэть, и Лавинъ кинулся къ нему навстръчу, изо всей силы оттолкнувшись ногами отъ подножки и дълая скачокъ впередъ. Онъ очнулся, когда уже отъ повзда остался только маленькій красный огонекь, быстро исчезавшій вдали. Кругомъ было темно, тихо и спокойно. Въ этой темнотъ, этой тишинъ, этомъ теплъ и покоъ чернаго огромнаго призрака больше уже не было. Онъ быль страшенъ, но съ нимъ хотълось вступить въ бой, въ единоборство, побъдить или погибнуть. Въ немъ не было ничего мерзкаго, отвратительнаго, какъ въ этомъ съромъ, бълесоватомъ, безформенномъ призракъ, который вползаль теперь сквозь решетку окна. Лежать тутъ и широко раскрытыми отъ ужаса глазами смотръть, какъ онъ ползеть, подбирается все ближе и ближе... Не быть въ силахъ бороться, защищаться, дълать движеніе, лежать и ждать, когда онъ подберется, подползеть, всего покроеть своимъ сырымъ колоднымъ, противнымъ, съроватымъ, безформеннымъ тъломъ и медленно, медленно задушитъ...

Какое-то щемящее чувство тоски и отвращенія ныло въ груди. Онъ знаетъ это щемящее чувство. Онъ видълъ смерть, медленно, тихо, но неизбъжно подкрадывавшуюся къ нему. И тогда онъ не могъ сдълать движенія, жеста, чтобъ оттолкнуться. И тогда щемило у него въ груди, но все-таки не такъ, все-таки это было не то.

Онъ долженъ былъ драться на дуэли утромъ, а вечеромъ къ нему явилась любовница его противника умолять, чтобъ онъ не убивалъ того, кто былъ ей дороже всего въ жизни, составлялъ собою все, что было хорошаго, дорогого, свътлаго въ міръ. Передъ нимъ, бреттеромъ, уже нъсколько человъкъ отправившимъ на тотъ свътъ, передъ стрълкомъ, попадавшимъ съ двадцати шаговъ въ бубноваго туза, эта женщина упала на колъни, умоляя пощадить любимаго человъка. Она была такъ хороша въ эти минуты, когда, рыдая, биласъ словно въ предсмертной тоскъ у его ногъ, что у него явилось безумное желаніе обладать этою женщиной. Пусть будетъ такъ. Онъ продастъ свой выстрълъ, — и опъ сказалъ ей цъну...

Этотъ полубезумный взглядъ. Эта минута колебанія. И это твердо и ръшительно сказанное:

— Хорошо.

На утро они стрълялись. По жребію ему достался первый выстръль. Онъ съ улыбкой выстрълиль кудато въ воздухъ. Наступила очередь противника. Онъ медленно подходилъ къ барьеру.

"Негодяй... онъ цълить въ животъ! — думалъ Лавинъ, какъ загипнотизированный, не имъя силъ отвести взглядъ отъ маленькаго, черненькаго кружка".

Секунды казались часами, тянулись безъ конца. Какое-то щемящее чувство тоски сжимало сердце. Смерть подходила медленно, но неизбъжно.

И вдругъ въ эту минуту вспомнилась женщина, которую онъ купилъ этою цѣной. Былъ моментъ, когда она подъ его ласками, кажется, забыла, что передъ нею врагъ... И онъ улыбнулся, вспомнивъ объ этомъ моментъ.

Быть-можеть, эта улыбка заставила дрогнуть руку противника. Онъ почувствоваль только какой-то страшный шумъ и сильный ударъ по плечу. Рана оказалась пустяшной и не задъла даже кости. Страшный призракъ, медленно приближавшійся, вдругь быстро пролетьль мимо, едва дотронувшись до него крыломъ.

Это были страшныя минуты, когда вся жизнь, весь мірь—все сосредоточилось только въ маленькомъ черномъ кружкъ, пристально смотръвшемъ на него.

Но этотъ призракъ не былъ тою сърою, холодною, скользкою жабой, которая проползала теперь своимъ мягкимъ, студенистымъ тъломъ сквозь ръшетку.

И лишь только это сравненіе сквозь страшный шумъ мелькнуло у него въ головъ, онъ вздрогнулъ и заметался; ея холодныя мягкія лапы хватали его уже за ноги, тянули къ себъ. У него холодъли ноги, и онъ чувствовалъ, какъ холодъетъ сердце.

Человъкъ на сосъдней койкъ заметался сильнъе. Очевидно, онъ тоже чувствовалъ близость "ея", старался вырваться, выкарабкаться изъ ея лапъ и хрипълъ, отмахиваясь руками:

- Испить... испить...
- Помогите! хотълось крикнуть Лавину, но изъ горла выдетало только какое-то беззвучное дыханіе. А холодныя, сырыя, какъ туманъ, скользкія лапы ползли и ползли по его тълу, подбирались къ горлу.

Его охватиль безумный ужась. Откуда-то явились силы, Лавинъ вскочиль и кинулся къ постели сосъда. Хоть на минуту ускользнуть изъ-подъ ея лапъ, и пусть она душитъ ихъ вмъстъ.

Но "она" схватила его за ноги, спутала ихъ одъяломъ, и онъ упалъ на колъни около самой койки сосъда, судорожно обхвативъ руками его горячее тъло.

Вдвоемъ было не такъ страшно.

Все-таки подъ руками было что-то горячее, живое, и онъ чувствовалъ, какъ теплота этого тъла переливается въ его остывающую кровь.

Сосъдъ заметался еще сильнъе, словно стараясь выкарабкаться изъ его судорожныхъ объятій, наконецъ, приподнялся на локтъ и съ ужасомъ уставился на него широко раскрытыми, красными, воспаленными глазами.

Лавинъ почувствовалъ ужасъ передъ этимъ краснымъ, налитымъ кровью лицомъ, съ рыжею, перепутанною бородой, съ прядями волосъ, прилипшими къ потному лбу. А онъ шепталъ, не сводя съ него полнаго ужаса взгляда, своими пересохшими губами:

— Испить... Умираю...

Ужасъ охватывалъ Лавина все сильнъе и сильнъе. Сейчасъ, сейчасъ "она" задушитъ этого и примется за него. Отдалить, отдалить эту минуту!

А умирающій снова безсильно упаль на подушку и хрипьль, теребя Лавина судорожно сжатою рукой за вороть рубашки.

— Испить... Испить... Умираю...

Лавинъ безпомощнымъ взоромъ оглянулся кругомъ.

Тамъ на столъ должна быть вода. Онъ собраль всъ силы, оттолкнуль руку, схватившуюся за его рубашку, руку умирающаго, и, цъпляясь за кровать, сталъ подниматься. Умирающій снова приподнялся и старался схватить его рукою, хрипя:

— Испить... испить...

Эта судорожно протянутая рука возбуждала въ немъ ужасъ; онъ отшатнулся и, поднявщись на ноги, сдълалъ нъсколько шаговъ, но тутъ же упалъ...

Сърая жаба расползалась по комнать. Она душина больного, и Лавинъ слышалъ, какъ онъ хрипълъ и и метался. Сейчасъ, сейчасъ покончитъ съ однимъ и примется за другого.

Лавинъ въ смертельномъ страхѣ поползъ за водою. Вотъ столъ... Вотъ подъ руку попадается какая-то склянка... Можетъ-быть, это не вода... Можетъ-быть, это лѣкарство... Нѣтъ, кажется, это графинъ...

Онъ застучаль о другія склянки...

Умирающій приподнялся на койкъ; онъ съ особенною силой хрипълъ теперь:

— Испить...

И Лавину казалось, что цълая безконечность отдъляеть его отъ сосъда, что онъ никогда не доползеть до него, чтобъ дать воды, что жаба задушить ихъ въразныхъ углахъ комнаты, и онъ съ отчаяниемъ началъ на колъняхъ карабкаться по полу, не выпуская графина изъ рукъ.

Вотъ онъ ближе... ближе... Вотъ койка... Онъ чувствуетъ этотъ жаръ, который такъ и пышетъ отъ

больного... Онъ поднесъ къ его запекшимся губамъ графинъ и съ отчаяніемъ зашепталь:

— Да пей же... пей... пей...

Умирающій сдълаль два глотка и, захлебнувшись, упаль на подушки.

Теперь, выпивъ воды, онъ сталъ спокойнъе и пересталъ метаться.

Силы окончательно оставили Лавина; онъ упалъ на полъ тутъ же, рядомъ съ койкой. Около валялся графинъ. Рука Лавина нащупывала лужицу пролившейся воды, и у него тоже просыпалась жажда. Ощущене холода и сырости смънилось ощущенемъ какого-то палящаго зноя. Онъ кое-какъ дотянулся и приникъ губами къ лужицъ воды. Нъсколько капель какъ будто успокоили и его.

Онъ чувствовалъ только страшную слабость.

"Неужели это смерть?" теперь ужъ съ какимъ-то спокойствіемъ подумалъ онъ.

Передъ нимъ почему-то пронеслось нъсколько знакомыхъ лицъ, картинъ, событій... Вдругъ вспомнился почему-то Донъ-Карлосъ, этотъ неудачный претендентъ, похоронившій себя въ Венеціи, въ своемъ родовомъ палаццо, въ обществъ художниковъ, артистовъ и куртизанокъ. Онъ разсказываетъ смълые, грандіозные замыслы о захватъ престола одного изъ Балканскихъ государствъ. Потухшіе глаза стараго политическаго авантюриста загораются прежнимъ огонькомъ. Въ Донъ-Карлосъ, отжившемъ, позабывшемъ свои мечты, просыпается прежній смълый, честолюбивый претенденть. Эта смълая, безумная авантюра дъйствуетъ на него, какъ призывный звукъ трубы на старую кавалерійскую лошадь, онъ готовъ всъми силами содъйствовать осуществленію идеи, такой же грандіозной, какими были когда-то и его собственныя. Онъ даеть денегь, много денегь... эти деньги запестръли въ глазахъ Лавина какимъ-то каскадомъ и вдругъ смънились засаленными, истрепанными серіями, сторублевками, и Донъ-Карлоса замънилъ какой-то старичокъ, который шамкаеть беззубымъ ртомъ:

— Это всё мои сбереженія. Но я даю ихъ вашему сіятельству какъ залогъ, потому что вполнѣ вѣрю вашему сіятельству.

Потомъ мелькнули какія-то знакомыя улицы. Кажется, это Парижъ. Да, разумъется, Парижъ. Но зачъмъ здъсь этотъ бульваръ? Нътъ, это вовсе не Парижъ, это "Unter den Linden", Берлинъ, и даже не Берлинъ, а Въна, потому что вотъ Дунай, какъ будто даже это скорфе похоже на Лондонъ... И вдругь все это исчезло, куда-то скрылось, и на ярко-красномъ фонъ, который положительно ослъиляетъ Лавина, появилось знакомое лицо... Гдъ видаль это лицо? Ахъ, да, это прокуроръ. "Одинъ изъ прокуроровъ", съ улыбкой подумалъ онъ и хотълъ было сказать что-то очень дерзкое, очень смъшное, очень остроумное, и сказаль бы, если бъ прокуроръ не превратился вдругъ въ маленькую, хорошенькую женщину, которая, ломая руки, смотръла на него глазами, полными слезъ, и твердила:

- Зачъмъ ты дълаешь все это? Зачъмъ?
- Я жить хочу... Понимаешь ли ты? Жить, жить, жить, а не прозябать! хотъль было крикнуть ей въ отвътъ Лавинъ, но надъ нимъ кто-то прохрипълъ:
 - Священника бы... Безъ покаянія...

Свъсившись съ койки, на него глядълъ рыжій сосъдъ глазами, полными тоски и страха:

— Священника... безъ покаянія... безъ покаянія... Лавинъ почувствоваль, какъ снова холодъ ноползъпо его тълу.

— Священника?.. Неужели конецъ?.. Конецъ?..

Подъ рукою было что-то скользкое, холодное, мокрое. Жаба... Она?

Его снова охватиль ужась, и онь, приподнявшись, обхватиль руками тёло сосёда, стараясь всполэти на койку.

А тотъ метался и съ какою-то смертельною тоскою повторялъ:

- Священника... священника...
- Не надо... не надо...-шепталъ Лавинъ.
- -- Покаяться... покаяться... Грышень... Краль...

И вдругъ, заметавшись, умирающій приподнялся, кръпко схватилъ Лавина за плечи и, глядя въ упоръшироко раскрытыми глазами все съ тъмъ же выраженіемъ ужаса, прохрипълъ:

— Да въдь съ голоду, ваше высокородіе, съ голоду... Въдь жрать хотълось, жрать... жрать...

И онъ, не выпуская изъ судорожно сжатыхъ пальцевъ рубашки Лавина, навзничь опрокинулся на подушки, въ груди у него что-то захрипъло, заклокотало, взглядъ сталъ стекляннымъ, онъ вытянулся и замолкъ, только въ груди что-то продолжало клокотать, все тише, тише, слабъе, слабъе...

Лавинъ дълалъ всъ усилія подняться и не могъ: руки кръпко держали его за воротникъ. Онъ чувствоваль, какъ онъ все холодъють и холодъють около его герла... Сърая жаба ползла по нимъ и впол-

зала на его тъло. Волосы зашевелились у него на головъ.

И вдругъ ему сдълалось все равно. Въ головъ поднялся какой-то шумъ, потомъ сталъ стихать и превратился въ какую-то пъсню.

Гдъ-то пълъ гондольеръ. Ему аккомпанировали волны, тихо плескавшіяся о мраморныя ступени дворцовъ. На черномъ бархатномъ небъ брильянтами сверкали звъзды. Луна дрожащимъ свътомъ посеребрила каналъ.

Венеція никогда не была такъ хороша, какъ въ эту минуту.

Пъло все: гдъ-то пълъ гондольеръ, пъли звъзды, пъло море, пълъ воздухъ, пълъ голубой лунный свътъ, лаская мраморные дворцы.

И эта чудная пъсня звучала все тише, нъжнъе... Тише и тише...

Все смолкло.

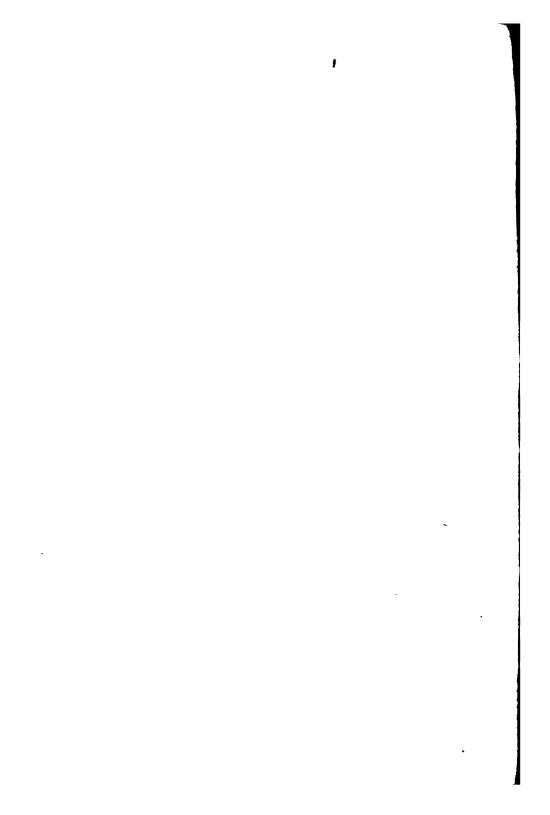


•

• •

.

3 pumest.



Зритель.

en anno como a Cherral en en el proporto de como del es-

لودية بين داري و المراجع المرا المراجع المراج

Это быль старый, скверный вагонь, какіе во всемь міръ сохранились только на французскихь жельзныхь дорогахь.

Крошечное отдъленіе на троихъ. Два мъста рядомъ, одно напротивъ.

Если я останусь одинъ, можно какъ-нибудь расположиться и заснуть. Но если явится еще пассажиръ...

И онъ явился.

Это быль маленькій, щупленькій человівкь. Сь наружностью—какъ будто онь страдаль болізнью или, скоріве, порокомъ, тайнымъ, сквернымъ и неизлічимымъ.

Съ погасшими глазами, страдальческимъ, испитымъ лицомъ, нервный дрожащій, подергивающійся.

Я поднялся.

Онъ воскликнулъ испуганно:

— Не безпокойтесь! Не безпокойтесь! Я помъщусь вотъ здъсь! Вотъ здъсь!

Откинулъ скамеечку и сълъ въ уголкъ напротивъ меня.

- Вы не далеко ъдете?—спросиль я.
- Я **вду** до...

Онъ назвалъ станцію, куда поъздъ приходить въ половинъ седьмого утра.

— Но вамъ придется цълую ночь! Садитесь рядомъ со мной!

Онъ снова заговорилъ торопливо, испуганно:

— Лежите! Лежите! Не безпокойтесь. Я все равно не сплю.

Я улыбнулся.

— Никогда?

Онъ улыбнулся въ отвътъ улыбкой, полной грусти и страданья.

- Никогда!
- Виноватъ... Что жъ это? Болъзнь?

Онъ вздохнулъ очень тяжело:

- Кажется, неизлъчимая.
- Простите мое любопытство... Но мит никогда не приходилось слышать... Давно вы страдаете?
 - Я не сплю уже два года.
 - Этого не можетъ быть!

Онъ пожалъ плечами.

- Я сплю, если это можно назвать сномъ, когда я истомленъ окончательно, я принимаю что-нибудь наркотическое. И лежу нъсколько часовъ въ оцъпенъніи, съ головой, словно налитой свинцомъ. Какойто полусонъ, полубодрствованіе. Такъ, въроятно, лежатъ въ летаргическомъ снъ... Ахъ, если бы это когданибудь перешло въ летаргію и меня похоронили!
 - Живымъ?
- Это лучше жизни! Задохнуться въ могилъ, быть задушеннымъ гробомъ—это лучше, чъмъ жить такъ, какъ я живу. Я иногда ночью мечтаю о томъ, что меня похоронили живымъ, въ летаргіи. Земля сыплется

на гробъ. Доски гроба трещать, ломаются, давять мнъ на грудь, душать меня. Я задыхаюсь... Я мечтаю объ этомъ.

- Но что за причина такой странной бользни? Онъ посмотрълъ на меня страдальческими глазами.
- Любопытство.

Затьмъ онъ словно спохватился:

- Нѣтъ! Нѣтъ! Объ этомъ не надо разсказывать... Вы... Я боюсь, что вы не захотите оставаться со мною въ купэ, уйдете... и мнѣ начнетъ представляться...
- Ради Бога... Что вы говорите? Что представляться?
 - Не считайте меня сумасшедшимъ... Не уходите... Онъ говорилъ съ ужасомъ.
- Не бойтесь оставаться со мной... Я не безумный... Я только не могу спать... Э! Зачёмъ я проговорился!
- Но говорите до конца, и я даю слово, что ни въ коемъ случат не уйду, кто бы вы ни были...

Я разсмъялся.

— Хоть палачъ?

Онъ весь задрожалъ и посмотрълъ на меня съ ужасомъ.

- Что вы сказали?
- Я сказаль... я сказаль-"палачь"...
- Нътъ! Я не палачъ!.. Я не палачъ!.. Я только любопътный...

Онъ сидълъ, весь съежившись, несчастный, пришибленный.

— Если вы требуете... если вы хотите... я скажу... Видите ли, два года тому назадъ со мной случилось несчастье: я пошелъ смотръть смертную казнь. За-

чъмъ? Это всегда любопытно. Мы сидъли въ ресторанъ, въ Парижъ, ужинали. Тутъ былъ одинъ журналистъ. Онъ сказалъ, что сегодня рано утромъ онъ идетъ на смертную казнь. Гильотинируютъ одного убійцу, заръзавшаго съ цълью грабежа. Я сказалъ: "Вотъ бы интересно посмотръть!" Журналистъ предложилъ: "угодно?" Я былъ радъ и воспользовался.

Онъ засмъялся горькимъ смъхомъ.

— Мы шли быстро, боясь опоздать!.. Журналисту ужасно хотёлось показать передъ постороннимъ, какой онъ вліятельный человёкъ,—онъ поставилъ меня такъ близко къ гильотинѣ, что когда кровь, словно изъ спринцовокъ, брызнула двумя струями изъ перерѣзанныхъ сонныхъ артерій,—нѣсколько капель попало мнѣ въ лицо... и обожгли... такая кровь была горячая... мнѣ кажется, что она и сейчасъ еще жжетъ...

Онъ провелъ дрожащими пальцами по щекъ.

— Вотъ здѣсь...

И онъ посмотрълъ на свои пальцы, словно желая убъдиться, что на нихъ нътъ крови.

— Это было сърымъ, пасмурнымъ, мрачнымъ утромъ... Я стоялъ, волновался, ждалъ... И вдругъ ворота тюрьмы отворились... И я увидълъ, какъ сторожа и люди въ цилиндрахъ тащатъ дрожащаго, бъющагося, упирающагося человъка, съ голой шеей... Онъ широко раскрытыми глазами глядълъ на гильотину... Ахъ, какой ужасъ былъ въ этомъ взглядъ! Мы всъ, здоровые, сильные, упитанные, убивали этого жалкаго, несчастнаго, дрожащаго человъка. Тащили на убой. Я бы кинулся бъжать,—если бы не стыдъ: "убъжалъ!" Его толкнули, онъ упалъ,—я видълъ какъ ножъ ръзанулъ по шеъ. Двъ тонкія струи крови вы-

летъли изъ переръзанной шеи,—и передъ моими глазами, въ корзинъ съ опилками, нъсколько разъ перекувырнулась голова. Ея глаза моргали. Я видълъ, я видълъ...

Онъ зажмурился, вытянулъ дрожащія руки, защищаясь отъ чего-то, и повторяль:

- Я видълъ... я видълъ... Если вамъ скажутъ, что голова не живетъ нъсколько моментовъ послъ смерти, не върьте, не върьте... Этого не знаетъ никто!
 - И, немного успокоившись, онъ продолжалъ:
- Когда я пришелъ въ себя, я былъ на другомъ концъ Парижа. Какъ я зашелъ туда,—не знаю. Вокругъ сновали люди,—и, вы знаете, я съ ужасомъ смотрълъ на нихъ. Когда ко мнъ приближался человъкъ, мнъ казалось, что вотъ сейчасъ его голова отлетитъ и покатится, моргая, крутясь въ крови... И что всъ, всъ головы сейчасъ полетятъ, закрутятся, заморгаютъ, покатятся мнъ подъ ноги... Я смотрълъ на шеи мужчинъ, женщинъ, и мнъ казалось, что вотъ сейчасъ, сейчасъ ударитъ гильотина... Когда я легъ, передо мной была голова, моргавшая, въ крови... Это была моя первая безсонная ночь.

Онъ помолчалъ.

— Я думаль, конечно, что это пройдеть... Но день за днемь, ночь за ночью это было все то же. Днемь я не могь видъть человъка, безъ того, чтобъ не представлять себъ, какъ толкають его шею въ отверстіе гильотины. Ночью я не видълъ ничего, кромъ отрубленной головы, близко отъ моего лица, —отъ нея дышало мнъ въ лицо теплотой крови. И она, часто-часто моргая, смотръла мнъ прямо, прямо въ глаза... Я сказалъ себъ: "Это оттого, что въ первый разъ". Надо

увидъть еще, — и впечатлъніе ослабнеть. Въ первый разъ мнъ померещилось черезчуръ много ужаса, во второй это покажется проще". Во Франціи...

Онъ снова улыбнулся горькой и страдальческой улыбкой.

— На мое несчастье, казни не было. Я прочель въ газетахъ, что предстоитъ въ Лондонъ, и поъхалъ. Черезъ знакомыхъ я добился разръшенія присутствовать при казни въ качествъ журналиста. Вы бывали въ Лондонъ? Мнъ часто приходилось бывать по дъламъ. Я проходилъ мимо дверей Ньюгетской тюрмы,не подозрѣвая даже, что это тюрьма. Господи! Да она такъ стиснута добрыми, честными, обыкновенными домами, -- даже дворъ не отдъляетъ ее отъ сосъдеи. Стъна объ ствну. Въ то время, когда въ этой комнатв въшають, и человъкъ корчится въ послъднихъ мукахъ, за стъной, быть-можеть, мать качаеть ребенка. Кто жъ подумаеть, что это тюрьма, устроенная спеціально для въшанья? Я проходилъ часто мимо этихъ дверей, ничего не подозръвая. Надъ ними торчитъ шестъ, - иногда пустой, иногда на немъ висълъ черный флагъ. Почемъ я зналь, что это? У англичань такь много странныхь обычаевъ. Кто жъ могъ думать, что этотъ выкинутый черный флагь означаеть, что минуту тому назадь за этими дверями повъсили человъка? Приговоренный входить въ эти двери и идеть узенькимъ коридорчикомъ. Направо, налъво по стънамъ квадраты съ номерами, -- это задъланы трупы его предшественниковъ. Крошечный дворикъ, -и нъсколько дверей. Однажды, послъ прогулки, его вводять не въ ту дверь, въ которую его вводили всегда въ его камеру. И тогда надъ главными дверями Ньюгетской тюрьмы появляется

черный флагъ. Нъсколько чиновниковъ, докторъ, палачъ, я, пасторъ, смотритель тюрьмы,—мы забрались въ эту страшную комнату за полчаса.

Осужденный гуляль на дворъ. Мы сидъли и молчали. Какъ вдругъ внизу хлопнула дверь, послышался топотъ шаговъ по лъстницъ. И меня охватилъ ужасъ, когда всв начали подниматься со стульевъ. Когда осужденнаго ввели, и онъ насъ увидалъ, онъ сталъ не блъднымъ, -- нътъ, -- бълымъ. Какъ будто его ввели въ клътку къ дикимъ звърямъ. Мнъ показалось, что я вижу, какъ зашевелились волосы у него на головъ. Ни онъ ни я не слышали, что говорили эти люди. Какъ вдругъ это страшное лицо мелькнуло передо мной въ послъдній разъ. На него накинули саванъ. Теперь это быль не человъкъ, а какой-то бълый мъщокъ, который шевелился. Привидъніе! Это привидение отвели на несколько шаговъ. Оно стояло, шаталось, шевелилось. Накинули веревку. Загремъло. Западня упала. И привиденіе, по колено провалившись подъ полъ, быстро-быстро завертвлось, закрутилось. Онъ трепыхаль руками, словно стараясь поднять ихъ къ шев и сорвать петлю. Видно было, какъ онъ часто-часто перебираетъ ногами, весь дергается. Пока, наконецъ, не повисъ, вытянувшись, дрогнувъ нъсколько разъ. И все еще крутясь. Крутился въ одну сторону, тише, тише, —на секунду останавливался и начиналь крутиться въ другую, сначала медленно, потомъ все быстрве, быстрве, потомъ опять стихая, стихая, до полной остановки. Съ каждымъ разомъ онъ дълалъ все меньше и меньше поворотовъ, словно успокоивался. Наконецъ веревка перестала крутиться, и покойникъ въ длинномъ бъломъ саванъ повисъ

движно, дѣлая медленные повороты то въ ту, то въ другую сторону, словно желая насъ оглядѣть всѣхъ еще разъ. Оглядѣть теперь спокойно тѣхъ, на кого онъ нѣсколько минутъ тому назадъ смотрѣлъ съ ужасомъ, какъ на звѣрей, которые вотъ кинутся и растерзаютъ... Съ этой минуты я не могу оставаться одинъ. Мнѣ кажется, что передо мной виситъ длинный бѣлый мѣшокъ и медленно поворачивается въ мою сторону... Я не могу видѣть, когда человѣкъ двигаетъ руками,—мнѣ кажется, что это онъ хочетъ сорвать петлю со своей шеи... Это ужасно. Страшнѣе этого только гаротта...

— Вы видъли и гаротту?

Онъ сидълъ, опустивъ голову, и отвъчалъ тономъ человъка, который признается въ преступлении.

— Я видълъ все. Безсонница меня измучила. Я решилъ: "надо привыкнуть. Нетъ ничего, къ чему бы человъкъ не привыкъ! Надо видъть десять разъ, сто, тысячу,-чтобы привыкнуть, привыкнуть,-и я буду спать! Я видълъ все... Я вадилъ въ Америку смотръть, какъ казнятъ электричествомъ. Говорятъ, что человъкъ умираетъ сразу. Можетъ - быть, можетъ - быть... Навърное... Можетъ-быть... Но это страшно, когда человъкъ четверть часа, сидя въ креслъ, стучить зубами. корчится въ судорогахъ, синветъ, чернветъ на вашихъ глазахъ. Мертвый? Можетъ-быть... Навърное... Можетъбыть... Но онъ бьется какъ живой... И вамъ все время кажется, что онъ живъ, мучится, борется, старается вырваться изъ ремней, которыми пристегнуть къ креслу, старается сбросить съ головы страшную мъдную каску. Вамъ кажется, что его сжигають передъ вами живымъ. И что живой, двигающійся человъкъ обугливается на вашихъ глазахъ... Нътъ, изъ Америки я вернулся еще въ большемъ ужасъ. И вся моя на лежда, вся была на то, что я привыкну. Привыкну, наконецъ! Я почти на колъняхъ стоялъ, умоляя офицера въ Алжиръ, умоляя коть изъ-за дерева, спрятавшись, посмотръть, какъ будутъ разстръливать солдата. Я слышу этотъ трескъ, вижу, какъ вдругъ пошла вся красными пятнами бълая рубаха, передо мной, вотъ здёсь, на полу, вездё, всегда лежить залитый кровью человъкъ, дергаясь, трепеща кистями рукъ, шевеля ступнями... Я не видълъ лицъ тъхъ которые убили. Они были закутаны дымомъ. Но солдаты затымь проходили передъ трупомъ, беря на караулъ передъ смертью. Шли стройно, ровно, спокойно, какъ всегда. Только глаза! Одни смотръли въ другую сторону, другіе зажмуривались, проходя мимо, бліздные, готовые, кажется, упасть, третьи въ ужасъ смотръли на трупъ, какъ смотритъ человъкъ въ пропасть, отъ которой не въ силахъ оторвать глазъ... Но страшнъе всего все-таки гаротта. Я видълъ въ Испаніи. Вы знаете, что такое гаротта? Металлическій обручь, привинченный къ столбу. Палачъ закручиваетъ винтъ,--и съ каждымъ поворотомъ обручъ все туже притискиваетъ шею къ столбу, -- давитъ все сильнъе. Глаза выльзають изъ орбить. Длинный - длинный языкъ льзеть изо рта. Словно съ каждымъ поворотомъ все выдавливають изъ человъка. Трепещущія руки вытягиваются, корчащіяся ноги становятся необычайно длинными. Словно все это вылъзаетъ изъ туловища. И когда я вижу человъка, я представляю себъ: этого, какъ летить его голова, этого съ высунутымъ чернымъ языкомъ и вылъзшими изъ орбитъ глазами, того, какъ

онъ перебираетъ ногами и крутится на веревкъ, того, какъ онъ щелкаеть зубами и чернветь, стараясь сбросить съ головы мъдную каску, которая его давить. того, какъ онъ лежить на земль и дергается, залитый кровью. Люди для меня-страшные призраки. Я вижу ихъ всвхъ-всвхъ казненными. А ночью меня окружають всв обезображенные трупы, которые я видель. обезображенные, оскверненные казнью! И я боюсь, боюсь сойти съ ума. Если эти образы останутся въ моемъ мозгу и въ больномъ воображении примутъ еще болъе реальную форму?! И жить съ ними, съ ними, ихъ чувствовать, видёть, осязать ихъ холодъ и липкую густую влагу крови. Нътъ! Мнъ страшно, мнъ страшно сойти съ ума. Лучше пусть меня похоронять живымъ, и меня задушить крышка гроба, треснувшая, сломанная надавившей землей. Это въдь будеть длиться только несколько минутъ... Скажите, какъ можетъ спать палачъ! Его совъсть спокойна, -- какъ совъсть тюремщика, какъ совъсть судьи. Слъдователь, прокуроръ, судья, тюремщикъ, палачъ-все это звенья одной и той же цёпи, которая называется правосудіемъ. И палачъ можетъ спать, совъсть не подпуститъ къ нему ни одного призрака. Онъ исполнилъ велъніе закона, онъ совершиль акть правосудія. Какъ задушить совъсть? И за что она меня мучить? За то, что я смотрълъ, какъ убиваютъ, изъ любопытства. Если это будеть моею обязанностью? Если я буду исполнять свой долгъ? Палачи спятъ. Я буду, буду тогда спать. И, узнавъ, что въ Англію требуется палачъ, я подаль заявленіе, что хочу занять эту должность.

Вамъ не удалось?Онъ покачалъ головой.

- Въ наше время борьба за существованіе такъ сильна. Оказалось, что раньше меня ужъ записалось три кандидата. Одинъ врачъ, хирургъ безъ практики. У него большая семья. Одинъ поэтъ-декадентъ, ищущій сверхъ-человѣческихъ ощущеній. И журналисть. По порученію редакціи, онъ леталъ на воздушномъ шарѣ, взвелъ на себя небывалое преступленіе и пробылъ два года на каторгѣ, теперь ищетъ мѣста палача, чтобы снова описать читателямъ свои впечатлѣнія. Конкуренція между газетами велика, какъ и вездѣ.
 - И вы?
 - Мит остается одно: смотрть, смотрть и ждать, когда же,—на сотомъ, на двухсотомъ трупт,—я привыкну. Я ищу свой сонъ. Я мечусь по вставнамъ. Съ эшафота на эшафотъ. Гдт я,—тамъ, значитъ, предстоитъ казнь.
 - Вы ъдете въ...
 - Поъздъ приходитъ туда въ половинъ седьмого, а гильотинированье назначено въ семь. Я боюсь, чтобы поъздъ не опоздалъ. Казни теперь все ръже и ръже...

Онъ умолкъ и сидълъ въ углу, тщедушный, жалкій,—словно огромная, голодная хищная птица, ожидающая падали.

Стукъ колесъ и покачиваніе повзда усыпили меня. Когда я проснулся, повздъ стояль въ...

Это крошечная станційка въ полуверсть отъ города. Вставало сърое, пасмурное утро.

За низенькой изгородью изъ кустарника, въ двухъ шагахъ отъ поъзда, мой спутникъ нанималъ таратайку, съ отчаяніемъ жестикулируя и что-то объясняя извозчику.

Повздъ тронулся.

Я видълъ, какъ мой ночной спутникъ вскочилъ въ таратайку, и какъ она, поднимая облака пыли, вскачь поскакала по направленію къ маленькому городку.

И среди этой пыли чернъла сгорбившаяся спина человъка, боявшагося опоздать на казнь.

Словно онъ сгорбился, чтобы удобнъе все время смотръть на часы.

И при мысли о томъ, что гдъ-то тамъ, какому-то неизвъстному мнъ человъку съ каждой секундой все меньше остается жить,—мнъ стало страшно одному въ купэ.

Я вынуль часы и съ ужасомъ смотрълъ, какъ стрълка приближалась, приближалась, приближалась къ семи.

Какъ быстро она шла.

И мив хотвлось крикнуть ей:

— Стой!

И я чувствоваль безпомощность, страшную безпомощность, которая меня разбивала.



СЛУЧАЙ.

Случай.

Я проснулся въ ужасъ.

Въ безотчетномъ ужасъ, который иногда почему-то охватываетъ васъ ночью, и вы, какъ ребенокъ, дрожите въ темнотъ.

Миъ снился сонъ.

Женщина переходила черезъ улицу. Какъ вдругъ камни мостовой провалились подъ ея ногами, и земля быстро начала засасывать женщину.

Женщина страшно крикнула. Разъ, два...

И я въ ужасъ проснулся.

Что это? Слышаль я во снъ или, дъйствительно, меня разбудиль женскій крикь?

Я вскочиль, отперь дверь и выглянуль въ освъщенный коридорь.

Черезъ номеръ отъ меня дверь тоже отворилась, и выглянулъ жилецъ, въ одномъ бълъъ, съ перепуганнымъ лицомъ.

Значить, мнъ не приснилось! Онъ тоже слышаль! Кругомъ было тихо.

Мы на цыпочкахъ подошли къ двери средняго номера и, затаивъ дыханіе, прислушались.

Изъ номера послышался поцълуй, Звонкій, вкусный.

Мы оба плюнули.

Разсмъялись безъ звука, кивкомъ головы пожелали другъ другу покойной ночи и тихонько, на цыпочкахъ, разошлись, улыбаясь и покачивая головой, по своимъ комнатамъ.

Но мив не спалось.

Какая безпокойная ночь!

Когда я засыпаль, мив показалось, что кто-то пробуеть отворить дверь.

И вотъ теперь...

Я чиркнулъ спичкой и закурилъ папиросу.

Словно въ отвътъ на шумъ, за стъной опять раздался поцълуй. Еще и еще.

Безъ конца!

Въ нихъ слышались то страсть и зной, то тихо звучала нъжность, то говорила благодарность.

Это меня забавляло. Мнъ хотълось бы смъяться. Но странно!

Что-то гнетущее было разлито въ воздухъ. Темнота словно была наполнена тяжелыми предчувствіями.

За ствной раздался разговоръ.

Собственно, не разговоръ. Говорилъ только мужчина. Женскаго голоса я не слышалъ.

Мужской голосъ говорилъ:

- Да говори громче! Я ничего не слышу! И послъ паузы:
- Увъряю тебя, они ничего не слышатъ. Они спятъ.

Опять поцелуй.

Затвиъ — шаги.

— A? Что? Достать тебъ платокъ? Сейчасъ поищу. Гдъ онъ? Здъсь? Здъсь нътъ. Въ этомъ чемоданъ?

Замки щелкали. Слышалось туршанье.

— И здъсь нътъ. Въ этомъ?.. И здъсь нътъ. Но гдъ же? Гдъ же? Гдъ же?

Въ голосъ слышалось сильное раздражение.

— Въ большомъ сундукъ? Но гдъ же ключи?.. Ахъ, Боже мой,—ну, гдъ же ключи?.. Ты хочешь, чтобъ я сломалъ замокъ?

Маленькая пауза.

— Изволь. Если ты такъ хочешь.

Раздался легкій трескъ, стукъ ящиковъ, которые спѣшно вынимали, шуршанье, — словно все выкидывали на полъ. Потомъ радостный возгласъ, почти крикъ:

— A! Вотъ!

Опять поцёлуй.

И все затихло.

Тишина стала еще болъе гнетущей.

Не знаю почему, но я быль такъ взволнованъ, что слышаль удары своего пульса.

Мужской голосъ заговорилъ снова.

-- Воды? — спросиль онъ. — Сейчасъ я тебъ дамъ воды... Представь, моя крошка, — въ графинъ ни капли. Дура горничная позабыла налить! Прислуга въ этихъ отеляхъ!.. Что? Очень хочется пить? Херошо! Я схожу поищу, гдъ у нихъ тутъ вода...

Хлопнула дверь.

Не знаю почему, движимый какимъ-то смѣшнымъ, дѣтскимъ любопытствомъ, я вскочилъ, тихонько пріотворилъ чуть-чуть свою дверь и въ щелочку выглянулъ въ коридоръ.

Я видълъ только вслъдъ быстро удалявшагося мужчину въ шляпъ, сдвинутой на лобъ, съ подня-

тымъ воротникомъ пальто, сгорбившагося, съежившагося.

Видно, его пробиралъ предутренній холодъ.

И затъмъ все снова стало тихо.

Прошло десять минуть, прошло двадцать. Мужчина съ водой не возвращался.

Въ сосъднемъ номеръ было тихо-тихо.

Прошло полчаса. Три четверти.

Я лежаль на кровати, дрожа всемь теломъ.

Страхъ росъ, росъ во мив.

Кругомъ ни звука. Словно всѣ въ этомъ домѣ умерли.

Страхъ мало-по-малу переходилъ въ ужасъ. Меня колотила лихорадка. Зубы стучали.

Миъ хотълось крикнуть дикимъ голосомъ, выбъжать въ коридоръ, созвать прислугу, разбудить жильцовъ. Зачъмъ?

Что я имъ скажу?

Что какой - то господинъ долго ходить за водой? Что я боюсь одинъ въ комнатъ?

Боязнь показаться смѣшнымъ, показаться глупымъ показаться сумасшедшимъ удерживала меня, и я ле жалъ, словно прибитый гвоздями къ постели, прико ванный ужасомъ,—не смѣя пошевелиться.

А время тянулось медленно-медленно.

И мужчина не возвращался.

И все было тихо въ этомъ словно вымершемъ домъ. Засърълъ разсвътъ.

Свътъ какой-то сърый и мрачный, и грязный, полэъ въ окна и наполнялъ комнату.

А онъ все не возвращался.

И кругомъ было тихо, какъ въ могилъ.

"Скорви бы день! Скорви бы день!" съ тоской думаль я, чувствуя, что мой ужась все растеть и растеть.

Первый звукъ, раздавшійся въ дом'в,—гд'в-то хлопнули дверью,—оживилъ меня.

Я вскочилъ, какъ безумный, и позвонилъ долго, настойчиво, тревожно.

Нъсколько минутъ молчанія, и раздалось шлепанье туфель.

Я слышаль, какъ коридорный щелкнуль номераторомъ электрическаго звонка, какъ что-то пробермоталь, зъвнуль и медленно, нехотя шель къ моей двери.

Воть когда секунды казались въчностью. Скоро ли онъ дойдеть?

И едва дверь отворилась, я встрътилъ его лицомъ къ лицу въ дверяхъ, такъ что онъ даже пошатнулся.

- Что угодно, monsieur?
- Кто живеть въ сосъднемъ номеръ? Вотъ здъсь! Заспанный лакей посмотрълъ на меня удивленно и злобно.
- Какая-то англичанка. Прі**вхала** вчера. Что угодно, monsieur?
- Она замужемъ? Скажите, она замужемъ?
 Лакей смотрълъ на меня все изумленнъе и изумленнъе.
- Почемъ же мив знать, monsieur? Monsieur задаетъ такіе странные вопросы! Въ шестомъ часу утра! Изволите безпокоить...
 - Я васъ спрашиваю!..
 - Прівхала одна!
 - У нея быль сегодня ночью мужчина!

Лакей посмотрълъ на меня, какъ на сумасшедшаго, пожалъ плечами и повернулся:

- У нея? Старуха, лътъ семидесяти!
- Въ такомъ случав...

Я схватилъ его за рукавъ.

— Въ такомъ случав, сейчасъ же войдите въ этотъ номеръ!.. Тамъ что-то странное... Я не знаю... Тамъ что-то произошло...

У меня зубъ не попадалъ на зубъ.

Лакей старался освободить свою руку. Онъ быль окончательно золъ.

— Но какъ я смъю, monsieur? Итти къ дамъ, когда она спитъ!

Но я не отпускаль его. Я наступаль:

Идите... Я отвъчаю... Я вамъ говорю, тамъ... тамъ что-то странное.

Моя тревога мало-по-малу передавалась и ему. Но онъ все еще пожималъ плечами.

— Какъ я могу?.. Какой вы странный, monsieur... Да и дверь, въроятно...

Онъ тронулъ дверь. Она отворилась.

Лакей нѣсколько моментовъ въ сомнѣніи постояль на порогѣ. Потомъ тихонько вошелъ.

Прошла секунда, другая—и изъ номера раздался крикъ, полный ужаса

— Ай!

Лакей вылетьль въ коридорь, трясущійся, бльдный, какъ полотно, съ искаженнымъ лицомъ.

— Тамъ... Она... Ай!.. Полицію... Управляющаго... Онъ кинулся за управляющимъ.

Словно какая-то неудержимая сила меня тянула Я пошелъ въ номеръ. Полъ былъ заваленъ раскрытыми чемоданами, выброшенными вещами. Я споткнулся обо что-то, падая, схватился за кровать и очутился лицомъ къ лицу...

Я закричалъ дикимъ голосомъ, зашатался, меня словно выбросили изъ комнаты.

На кровати лежала желтая, словно восковая, фигура съ широко раскрытыми стеклянными глазами, — старуха съ переръзаннымъ горломъ.

Кровь темнымъ, — мнѣ показалось, чернымъ, — пятномъ покрывала край простыни.

Лужа крови чернъла на ковръ около кровати. Двери хлопали.

Разбуженные моимъ крикомъ, неодътые жильцы съ испуганными лицами выглядывали изъ дверей.

— Что случилось?.. Что случилось?..

Я очнулся, — меня трясь за руку сосъдъ, съ которымъ мы ночью подслушивали и смъялись около двери.

Онъ тоже заглянуль въ номеръ старухи и тоже вылетъль оттуда въ ужасъ.

Онъ трясъ меня за рукавъ, широко, въ ужасъ, безсмысленно раскрывъ глаза, и, не попадая зубъ на зубъ, повторялъ:

— Я тоже не спалъ всю ночь... Я тоже не спалъ всю ночь...

Сбъжалась вся гостиница.

Явилась полиція.

Швейцаръ слышалъ только, что ночью кто-то постучалъ къ нему въ дверь. Онъ, какъ всегда, дернулъ за цъпочку, отворилъ входную дверь. Стучавшій вышелъ, и дверь за нимъ захлопнулась.

На тротуаръ, въ двухъ шагахъ отъ гостиницы, нашли платокъ, о который вытирали окровавленныя руки. Вотъ и все.

Гостиница расположена на углу площади. Отъ площади по всёмъ направленіямъ разбёгается десятокъ улицъ. Дальше каждая изъ нихъ дёлится на двё, на три. Тё дёлятся опять, скрещиваются, перекрещиваются.

И въ этомъ лабиринтъ убійца исчезъ безслъдно, навсегда.

Разумъется, обыкновенный грабитель, забравшійся съ вечера въ гостиницу, гдъ-нибудь притаившійся до ночи, а затъмъ вошедшій въ тотъ номеръ, который позабыли запереть.

И управляющій, блѣдный, растерянный, говориль съ укоромъ намъ всѣмъ, — словно мы были виноваты въ случившемся съ нимъ несчастіи:

— Ахъ, господа, всегда надо запирать двери! Какъ вы такъ, право!..

И жильцы стояли подавленные, словно, дъйствительно, въ чемъ-то виноватые.

Больше встать быль подавлень, больше встать быль растерянь состать, съ которымъ мы ночью смтались у двери, гдт въ это время совершалось преступленіе.

- Но позвольте! Какъ же такъ? бормоталъ онъ.— Я самъ... понимаете, самъ!.. Я слышалъ поцълуй! Ясно слышалъ поцълуй! Поцълуй!
- Какъ будто нельзя цъловать собственную руку! вскользь замътиль одинъ изъ лакеевъ, взглянувъ на него искоса, пожимая плечами, полный презрънія къ человъческой недогадливости.
- Вы бы легли, monsieur! На васъ лица нътъ! замътилъ мнъ кто-то.

— А мий представлялось то, какъ убійца быстро уходить по коридору, поднявь воротникь, нахлобучивь шляпу, сгорбившись, съежившись, словно дрожа отъ холода, то, какъ онъ, стоя около трупа, цёлуеть себё руку, чтобъ обмануть проснувшихся сосёдей.

Онъ давалъ концертъ на поцълуяхъ.

Настоящій концертъ.

Придавая имъ всъ оттънки, — отъ безумной страсти до тихой нъжности.

Заставляя ихъ звучать то громко, то тихимъ шопотомъ любви, обожанія, то благодарностью за счастье.

А въ это время около лилась кровь изъ переръзаннаго горла, промачивала матрацъ, струйкой стекала и крупными тяжелыми каплями падала въ темную лужу на ковръ.

А онъ давалъ свой концертъ.

И этотъ концертъ давался для меня.

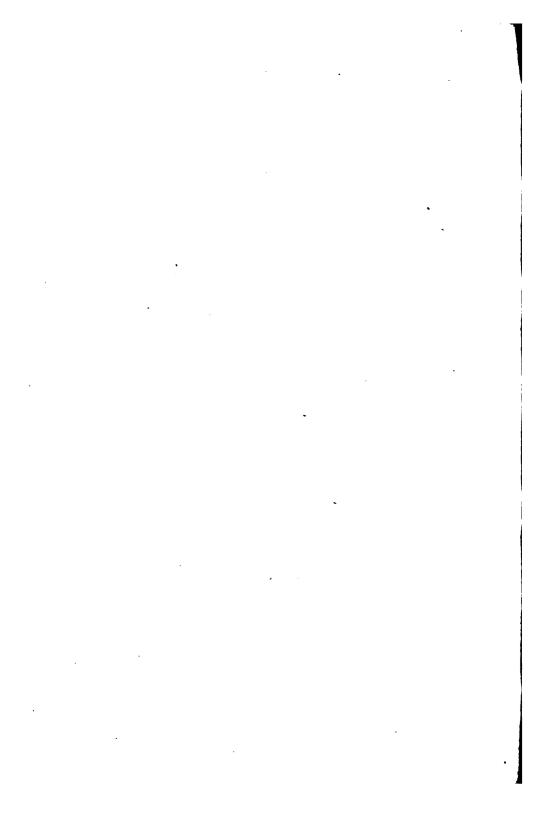




Жельзходорожхая семья.



Жельзходорожхая семья.



Жельзнодорожная семья.

- Слышали? Жанна выходить за старшаго Жако!
- Да неужели?!
- Увъряю васъ.
- Вотъ ей счастье!
- Незаконнорожденнымъ всегда счастье!
- Ну, положимъ, счастье не особенно велико!

Такъ говорили немногіе, по большей части легкомысленная молодежь.

Но ихъ строго останавливали старшіе:

- Для бъдной дъвушки, какъ она, конечно, счастье! Семья Жако...
- A, изв'встные жел'взнодорожники! съ уваженіемъ говорили окрестные крестьяне.

Жако—самая зажиточная семья въ округъ. У никъ великолъпный домъ около самаго полотна желъзной дороги.

Желъзнодорожная компанія предлагала имъ переъхать подальше и даже согласна была купить для нихъ небольшую ферму.

Но глава семьи, Жако, съ достоинствомъ отвъчаль:

— У всякой семьи есть свои преданія! Мы остаемся эдъсь, гдъ жилъ нашъ отецъ. Здъсь умерь овъ, адъсь покоятся части нашихъ тълъ! У Жако десятокъ лошадей, молочная ферма, 200 овецъ, цълое стадо свичей. Они выкармливаютъ для продажи пулярокъ. У нихъ хорошій вилоградникъ, Жако даютъ деньги взаймы и берутъ хорошіе проценты.

— Семья, какихъ мало!—говоритъ самъ префектъ.— Жако знаютъ веъ.

Семья Жако состоить изъ пяти человъкъ: старикъ Жако, супруга Жако и трое сыновей. У нихъ у всъхъ пять ногъ и пять рукъ.

- О, Жако тонко знають своп дъла! говорять про нихъ съ завистью крестьяне.
 - Они идутъ прямымъ путемъ къ богатству!
- Вы увидите, что ихъ внуки будутъ ходить на двухъ ногахъ и ъсть объими руками.

Начало благосостоянію семьи Жако положиль отець стариковь, Франсуа.

Портретъ этого "истиннаго родоначальника фамиліи" красуется въ парадной комнатъ дома Жако. Его писалъ одинъ кудожникъ изъ Парижа, высаженный за неимъніе билета на ближайшей станціи и никогда не видавшій покойника. На портретъ изображенъ Макъ-Магонъ съ благороднъйшимъ выраженіемъ лица. Этимъ портретомъ очень гордятся.

- Таковъ былъ папаша.
- Жизнь его являеть очень поучительный примъръ! — говорить старикъ Жако.

Онъ былъ страшнъйшимъ пьяницей. ,

— Онъ не только не увеличилъ того, что ему досталось, но истратилъ и то, что было! — съ грустью вспоминаютъ про "родоначальника фамилии".

Въ пьянствъ онъ не зналъ границъ и мъры.

Такого пьяницы еще не бывало!

- Онъ продалъ за пятьдесятъ франковъ корову, стоившую двъсти!—со слезами вспоминаетъ старуха Жако.
- Да! И пропилъ эти деньги! подтверждаетъ старикъ Жако, разсказывая поучительную исторію своего отца. За пятьдесять франковъ корову, которая стопла по меньшей мъръ, по меньшей мъръ двъсти!

Сорокъ два года семья не можетъ забыть о коровъ. Память о ней живетъ въ третьемъ поколъніи.

— Но, — тутъ голосъ старика Жако звучить торжественно, — своей смертью онъ искупилъ все! Онъжилъ, какъ великій гръшникъ, и умеръ, какъ дай Богъ умереть всякому христіанину! Осчастлививъсвоихъ дътей!

Однажды старикъ Франсуа, по обыкновенію пьяный какъ стелька, переходилъ черезъ рельсы, какъ вдругъ изъ-за крутого поворота вылетълъ курьерскій поъздъ, шедшій изъ Ліопа.

Свистъ, отчаянный крикъ,—и на полотиъ, когда пронесся поъздъ, лежали двъ половинки старика Франсуа.

— Онъ былъ разръзанъ изумительно! Вдоль и пополамъ! Хоть на въсахъ свъщаите! Двъ совершенно равныя половинки! Какъ апельсинъ! Даже голова разръзана пополамъ! Въ этомъ нельзя было не видъть знаменія!

За задавленнаго старика желъзнодорожная компанія должна была заплатить десять тысячь франковъ.

И старикъ Жако — тогда еще молодой человъкъ — сказалъ своей жепъ:

— Старуха, надо быть невърующимъ, чтобъ не видъть въ этомъ особаго указапія! Старуха, ты видишь перстъ? Старуха Жако — тогда еще молодая женщина — затряслась отъ благоговънія и прошептала:

- Вижу!
- Старуха, такія чудеса встрѣчаются только въ описаніяхъ жизни святыхъ. Всю жизнь человѣкъ жилъ великимъ грѣшникомъ, а умеръ праведникомъ! десять тысячъ франковъ! Старуха, намъ указанъ путь къ благосостоянію нашей семьи.

И черезъ недълю изъ-подъ колесъ вечерняго курьерскаго поъзда раздался страшный вопль.

Madame Жако кувыркалась въ крови безъ лъвой ноги.

"Случившійся" неподалеку Жако бросился въ деревню за фельдшеромъ, тотъ сдълалъ перевязку.

И желъзнодорожная компанія безъ особыхъ споровъ заплатила Жако за отръзанную ногу восемь тысячъ франковъ.

— Мы заплатили бы больше, но въдь, согласитесь, съ потерей одной, —всего одной ноги, — madame не потеряла полной способности къ труду!

Лъвая нога madame Жако была погребена въ саду. Черезъ четыре мъсяца madame Жако выздоровъла и очень быстро ходила на деревяжкъ.

А черезъ четыре мъсяца и пять дней послъ несчастнаго случая съ madame Жако по проходъ вечерняго курьерскаго поъзда на полотнъ валялся въ крови,безъ правой ноги, monsieur Жако, крича и проклиная желъзную дорогу:

— Которая только и дълаетъ, что давитъ людей, не давая даже предупредительныхъ свистковъ, что совсъмъ не по правиламъ!

"Случившаяся" точно такъ же поблизости madame Жако сбъгала за фельдшеромъ. Фельдшеръ сдълалъ перевязку.

Желъзнодорожная компанія заплатила на этоть разъ двънадцать тысячъ франковъ. И такимъ образомъ установилась такса.

Нога — восемь тысячъ франковъ.

Рука — двънадцать тысячъ.

Правую руку monsieur Жако положили подъ тъмъ же вишневымъ деревомъ, рядомъ съ лъвой ногой madame Жако.

А черезъ шесть мѣсяцевъ въ землю пошла и правая рука madame.

Жако сказалъ садовнику, которымъ онъ уже успълъ обзавестись:

— Вотъ по этой линіи отъ этого дерева вы ничего не садите, кром'в цв'ьтовъ. Никакихъ деревьевъ, никакихъ кустовъ. Это м'юсто намъ понадобится!

Дъти Жако подрастали, и когда достигали совершеннольтія, "части ихъ тълъ", какъ называлъ Жако, укладывались на лужайкъ.

Часто старики Жако, ковыляя вечеромъ въ саду на костыляхъ, заводили споръ по поводу маленькихъ холмиковъ, покрытыхъ цвътами.

- . Здъсь лежить лъвая нога Жака!
- Ну, вотъ еще! Тутъ правая нога Пьера. Жакова нога дальше! Жакова нога была ужъ поздиће даже Жозефовой руки!
- Ты правъ! А вотъ тутъ моя рука! Но гдъ же Пьеровы пальцы?

Пальцы — это было уже усовершенствование въ дълъ, выдуманное старикомъ Жако.

На первый разъ Пьеру удалось удивительно ловко выскочить изъ-подъ поъзда. Ему отръзало только три пальца на правой рукъ.

Только шесть мъсяцевъ спустя онъ попаль такт. песчастно, что ему ужъ совсъмъ отръзало начисто руку.

Желъзнодорожная компанія сначала заплатила три тысячи франковъ "за частичное лишеніе способности къ труду", а потомъ уже двънадцать тысячъ за полное лишеніе правой руки.

Такимъ образомъ рука принесла пятнадцать тысячъ франковъ.

Но, къ сожальнію, Пьеръ быль младшимъ сыномъ, и удачная мысль пришла въ голову слишкомъ поздно.

- Въ общемъ, практикой была выработана такая система.

Жако "ръзались" накресть: правая рука и лъвая нога.

— Это необходимо для правильной циркуляцій прови,—объясняль старикъ Жако,—этимъ избъгается односторонность!

И добрый деревенскій врачъ поддакиваль:

— Совершенно върпо! Конечно, съ медицинской точки зрънія это все-таки лучше!

Жако отлично знали, и когда онъ являлся въ желъзнодорожную компанію за вознагражденіемъ за увъчье, тамъ посмъпвались:

— Ну, monsieur Жако, не найдется ли у васъ еще лииней ноги?

На что Жако отвъчалъ строго:

— Надъ чужими несчастіями, сударь, не смъются. Это запрещаетъ Господь.

Итакъ, въ деревнъ прошелъ слухъ, что Жанна, безприданница Жанна, незаконнорожденная Жанна выходитъ за Жозефа, старшаго сына Жако.

Жанна была красивая и здоровая дъвушка, -- кровь съ молокомъ.

- Главное, что здоровая!— съ любовью говорила о ней старуха. Для насъ это самое важное!

 Замужество Жанны вызвало массу толковъ.
- За самаго богатаго жениха въ селъ! Везетъ этимъ незаконнорожденнымъ.
 - Ну, не велико счастіе! фыркала молодежь.

Но Анатоль Жофруа, служившій въ солдатахъ и имъющій даже политическія убъжденія, остановиль недовольныхъ:

— Жельзная дорога и все прочее есть не что иное, какъ цивилизація. Цивилизація существуєть для блага общаго. Должны же, чорть возьми, и мы пользоваться какими-нибудь благами отъ цивилизаціи! Буржуа летить въ курьерскомъ поъздъ! Должно же что-нибудь перепасть и на долю бъдняка, домъ котораго осыпають искрами и обдають дымомъ. Въдь не для однихъ же богатыхъ, чортъ побери, существують жельзныя дороги! Надо и бъдняку пріобщить себя къ благамъ цивилизаціи!

Послъ этого всякіе разговоры стихли.

 Жофруа правъ! Это человъкъ съ политическими взглядами!

Свадьбу справили сейчасъ же послъ Рождества. И справили съ пышностью.

Вся семья Жако, разодътая по-праздничному, ковыляла на деревяжкахъ, и только одна Жанна шла двумя ногами и утирала слезы двумя руками.

По окончаніи вънчанія кюре обратился къ Жаннъ съ проповъдью на тему "довольствуйтесь малымъ".

— Жанна, — сказалъ онъ, — вы бъдная дъвушка, и Небу угодно было взыскать васъ за вашу бъдность и за вашу чистоту, невзирая даже на ваше гръшное

происхожденіе. Вы зачаты въдь въ гръхъ, Жанна! Но Небу угодно было не обратить вниманія на это. Вы входите, Жанна, въ самую почтенную и самую состоятельную семью нашего прихода. Постарайтесь быть достойной ея, Жанна. Вы будете жить въ богатствъ, но никогда не забывайте правила: довольствуйтесь малымъ. Блестящій примъръ этого вы видите въ той семьв, въ которую вы нынв вступаете, Жанна. Вся семья Жако всегда въ скромности своей довольствовалась меньшимъ, чъмъ довольствуемся мы, прочіе гръшные люди. Они довольствуются всего одной ногой и всего одной рукой! Вотъ примъръ довольства малымъ! И Небо невидимо награждаетъ ихъ. Посмотрите на ихъ виноградники, на ихъ сады, на ихъ стада-и умилитесь! Такъ награждается, дъти мои, скромность, такъ награждается довольство малымъ!

Глубоко тронутый, старикъ Жако даже прослезился, слушая проповъдь, и по окончаніи подковыляль къ кюре на своей деревяжкъ:

— Вы отлично говорили! Даже меня прошибла слеза, а я видалъ виды, — согласитесь! Вотъ вамъ, кромъ условленнаго за вънчаніе, еще сто франковъ. Украшайте церковь. Благодарю васъ за то, что вы внушаете добрыя мысли молодежи!

Свадебный столь отличался изобиліемь, и когда молодая взялась за ложку, старикь Жако всталь и торжественнымь голосомь, при общихь одобреніяхь, сказаль:

— Эге! Возьми-ка ложку въ лѣвую руку, моя милая Жанна! Въ лѣвую! Семья крѣпка преданіями! А въ семьъ, куда ты входишь, дитя мое, всѣ ѣдятъ лѣвой рукой — за неимѣніемъ правой!

Гости закричали "ура", а старуха Жако со слезами обняла Жанну и, прижимая ее лъвой рукой къ сердцу, сказала:

— Привыкай ъсть лъвой рукой, дитя мое! Это твой первый опыть!

У Жанны, похолодъло сердце.

Жаннъ жилось великолъпно.

Она отлично ѣла, прекрасно работала, и единственное—что на нее покрикивали:

— Жанна, не работай правой рукой! Правая тебъ ни къ чему! Пріучайся все дълать лъвой!

И на нее смотръли съ любовью.

— Ты бы подвязала Жаннъ правую руку, — говорилъ женъ старикъ Жако, — скоро время.

Старуха Жако ласково прибинтовывала Жаннъ правую руку:

— Зачъмъ тебъ она? Ты посмотри, какъ безъ нея удобно! Легко! Ничего лишняго! Дай я тебъ подвяжу, чтобъ эта дрянь не болталась!

И она цъловала Жанну.

- Готовься, готовься, дитя мое! Ты скоро принесешь приданое своему мужу! двънадцать тысячъ франковъ! Жанна вздыхала:
- Маменька, разбинтуйте! Я чувствую какую-то неловкость въ правой рукъ. Разбинтуйте!

И вся семья съ радостью восклицала:

— Не долго ужъ, не долго потерпъть, Жанночка! Вотъ ты ужъ и сама чувствуещь, что она тебъ мъшаеть!

Настала весна, и старикъ Жако сказалъ однажды, съ любовью глядя на руки и ноги Жанны:

— Пора ужъ у Жанночки обстричь купончикъ!

Жанна зарыдала и кинулась въ ноги старикамъ:

— Я буду работать, сколько угодно! Я буду работать за двоихъ, за всъхъ! Не троганте меня!

Но старикъ нахмурился:

- Вотъ еще глупости! Что мы за милліонеры такіе, чтобъ имъть по двъ руки и по двъ ноги?! Прихоть не по карману! Мы люди бъдные, впору имъть необходимое. А роскоши заводить не къ чему!
- Будемъ благоразумны, сказалъ ей мужъ, лаская Жанну лъвой рукой, будемъ благоразумны, моя жизнь, мое счастье! Въдь должна же ты принести мнъ приданое? Не такъ ли? Ну, что за охота, чтобы вся деревня говорила про тебя, что ты безприданница? Я не хочу, чтобы о моей женъ говорили дурно!
- Да и, наконецъ, это безобразіе! протестовали младшіе братья. Вся семья обходится деревяжками, съ какой же стати она одна будетъ отпускать себъ руки и ноги?! Если такъ, мы тоже женимся и тоже не позволимъ трогать нашихъ женъ! Хороша будетъ семья! Рукастая! Ногастая! Куда ни плюнь, вездъ торчитъ рука или нога! Тфу!
- Даже непріятно смотръть! Висять лишнія вещи!— поддакиваль отець.

А мать, обнимая Жанну, уговаривала:

— Ты себъ представить не можешь, Жанночка, какая это прелесть безъ руки, безъ ноги! Какое облегченіе! Ложишься въ постель — словно безплотный духъ! Ничего не чувствуешь! Одинъ воздухъ! Ахъ, какъ хорошо!

Жанна плакала, и на семейномъ совътъ было ръшено: — Пусть льто съ рукой проведеть! Пусть пощеголяеть! Женщина молоденькая! Пусть пофрантить! Кстати не рабочее время. Но осенью...

Сентябрь забрызгаль мелкимъ дождемъ, и однажды, когда всё сёли за обёдъ и Жанна взялась за ложку, свекровь остановила ее съ нёжностью:

— Для тебя, Жанночка, приготовлено особо! Получше!

И поставила на столъ жареную баранью ногу.

— Теперь тебъ надо кушать получше! Эти двъ недъли!

У Жанны затряслись руки и ноги.

Никогда Жаннъ не снилось, чтобы въ людяхъ было столько нъжности.

Вся семья ходила поутру на цыпочкахъ:

— Тсъ! Жанна спитъ! Жаннъ нужно теперь набираться силъ!

Объдъ Жаннъ вызывалъ горячіе споры.

- Баранины ей! Баранины! говорилъ старикъ Жако. — Что за бъда! Приръзать еще барана!
- Супъ изъ бычачьихъ хвостовъ—очень-очень питательная вещь!
 - Гусь хорошо помогаетъ женщинамъ!
- Дайте ей гуся! Молока! Янцъ! Масла!

Оставаясь одна, Жанна цъловала свою правую руку.

Какъ нарочно, безъ работы, рука стала такой бълой, нѣжной и красивой. Сквозь тонкую кожу просвѣчивали голубенькія жилки. Жанна припадала къней со слезами и цѣловала, цѣловала, цѣловала свою руку.

Голова у нея шла кругомъ, и иногда у Жанны являлась безумная мысль:

"Взять ножъ и самой отръзать себъ руку. Самой! И бросить ее старикамъ!"

Въ одну изъ такихъ минутъ ее застала старуха Жако. Лицо у Жанны было такое страшное, что старуха поняла ея мысль. Затряслась и поблъднъла.

- Что ты думаешь сдълать? Не смъй, не смъй и думать объ этомъ! Ты насъ разоришь!
 - Жанна разрыдалась.
 - Маменька, да въдь какъ больно-то будеть! Но старуха съ ласковой улыбкой обняла ее:
 - Глупенькая моя! А какъ же рожаютъ-то?

За ужиномъ старикъ Жако съ любовью глядълъ на расписаніе поъздовъ, которое, какъ святыня, въ рамкъ висъло на стънъ, и говорилъ, указывая на поъздъ, подчеркнутый краснымъ карандашомъ:

— Вотъ нашъ повздъ!

И однажды, послъ ужина, старикъ поднялся и сказалъ, взглянувъ на часы:

— Половина девятаго. Жанна, идемъ!

Жанна кинулась на полъ, она хватала всъхъ Жако за уцълъвшія ноги, за деревяжки, цъловала ноги, цъловала деревяжки:

— Ну, подождемъ коть до пассажирскаго повзда! Еще полчаса!

Старикъ Жако отрицательно покачалъ головой:

— У всёхъ есть свое самолюбіе, дитя мое! Насъ всегда давилъ курьерскій поёздъ, — зачёмъ же ложиться подъ какой-то пассажирскій, когда есть курьерскій! Изъ вагоновъ перваго класса, — ты только подумай! Да курьерскій и лучше. Курьерскій пролетаетъ

по рукъ стрълой, а пассажирскій, — жди тамъ, пока протащится! Курьерскій — одна прелесть! Коротко и скоро. Ты не успъешь опомниться, — чикъ, и готово! Какъ ноготь обстричь. Идемъ, Жанна, идемъ!

— Ой-ой-ой!—вопила Жанна. — Хоть пьяною меня напойте!

Но старики расхохотались:

— Ахъ, молодость, молодость! Да въдь если отъ тебя будеть пахнуть абсентомъ, это ужъ будеть собственная неосторожность!

И старикъ Жако прибавилъ строго:

— И къ тому же, что скажуть люди? Молодая Жако такъ напивается, что попала подъ поъздъ! Мы живемъ среди людей и должны считаться съ общественнымъ мнъніемъ! Ну, идемъ! Довольно глупостей!

И вся семья повела Жанну, похолодъвшую, трясущуюся, едва державшуюся на ногахъ.

- Такъ помни, дитя мое, —говорила мать, обнимая ее за талью, тамъ есть такая гайка на внутренней сторонъ рельса, схватись за нее и держись кръпче, чтобъ не отнять руку въ нужную минуту! Только держись за гайку, остальное все само собой!
- Вотъ наше мъсто, съ гордостью сказалъ старикъ Жако, свътя фонаремъ, вотъ и гайка. Жанна, дожись, дитя мое.

Старуха слегка подтолкнула еле державшуюся на ногахъ Жанну; та упала.

— Вотъ такъ, вотъ такъ, дитя мое! Дай руку! Вотъ гайка! Схвати пальцами! Держись!

Старуха заботливо оправила и подоткнула платье Жанны, чтобъ его не втянуло въ колеса. — Слышишь, какъ рельсы загудъли. Теперь ужъ близко! Близко! Лежи съ Богомъ!

Старуха поцъловала Жанну и отошла въ сторону отъ полотна.

- Полминуты какихъ-нибудь! Держись, Жанна! донеслось изъ темноты.
 - За гайку держись!

Поднялся дьявольскій шумъ. Изъ-за поворота, словно чорть съ огненными глазами, сверкая огромными фонарями, вылетёлъ паровозъ.

Грохоть, трескъ, свисть, вопль.

— Человъка задавили! Человъка задавили! — закричалъ Жозефъ Жако, кидаясь въ деревню за фельдшеромъ.

Семья Жако бросилась къ рельсамъ, свътя фонаремъ, отыскивая, гдъ Жанна.

Жанна лежала около рельсовъ, бълая какъ мълъ, съ вытаращенными глазами, съ оскаленными стиснутыми зубами.

— Будьте вы прокляты!.. Прокляты!.. Прокляты!.. со стономъ крикнула она.

Старуха Жако нагнулась и воскликнула:

— Поздравляю васъ! Какъ нельзя быть лучше! Немного ниже плеча!

А изъ деревни съ фонарями бъжали ужъ люди.

- У Жако опять несчастье!
- Жанна?
- Она!
- Руку или ногу?

Кровь хлестала изъ Жанны, и она стонала, впадая въ забытье:

— Будьте прокляты... прокляты... прокляты...

— Это она желѣзную дорогу!—пояснилъ старикъ.— Конечно, будь они прокляты! Калѣчатъ людей, даже свистка не даютъ!

Жанна лежала въ сосъдней комнатъ на отличной хирургической койкъ, давно уже заведенной въ домъ Жако. Около нея хлопотали докторъ и фельдшеръ.

А семья Жако, собравшись въ столовой, чокалась краснымъ виномъ.

На Жозефа сыпались поздравленія.

— Теперь ты можешь позволять себѣ все!—говориль со слезами Жако-отець.—Я тебѣ разрѣшаю! Безумствуйте, дѣти мои! Наслаждайтесь жизнью! Теперь Жанна можеть быть въ интересномъ положеніи!

Черезъ два съ половиной года надъ желъзнодорожной семьей разразилось несчастье.

— Мы потеряли двадцать тысячъ франковъ!— говорила мнъ Жанна, утирая слезы лъвой рукой и съ трудомъ стоя на деревяжкъ.

Она только что встала послѣ "лѣвой ноги" и еще плохо управлялась съ деревяжкой.

- Двадцать тысячъ франковъ! Вы только подумайте! Черезъ полтора года "послъ руки" Жанна родила мальчика.
- Прелестный быль такой бутуэь. Върите ли, кровь съ молокомъ.

И старикъ Жако ръшилъ:

— Надо проучить желъзнодорожную компанію на этоть разъ какъ слъдуеть!

Мимоходомъ онъ посовътовался съ опытнымъ юристомъ:

— Скажите, если ребенку отдавять правую ручку, это дороже стоить? — Конечно же, дороже! — отвътилъ опытный юристь. —Лишенье способности къ труду на всю жизнь! Шутка! Надо съ дътства держать инвалидомъ!

И старикъ Жако ръшилъ:

- Надо заблаговременно позаботиться о малюткъ!
- Къ тому же,— говорилъ онъ дома,— это лучше, если ребенокъ вырастеть безъ правой руки. Онъ затъмъ не чувствуетъ никакого лишенія. Онъ даже не знаетъ, что такое правая рука!

Всѣ съ нимъ согласились.

И когда младенцу исполнился годъ, насталъ торжественный день!

Съ утра вся семья была въ радужномъ настроеніи:

- Сегодня маленькій Жако сдълаеть свое дъло!
- Такой маленькій и ужъ заработаеть двадцать тысячь франковъ по меньшей мъръ! — шутиль дъдушка.—Молодецъ, Жако! Настоящій Жако!
- И это, не считая ножки!—съ гордостью говорила счастливая мать.—Ножкой онъ потомъ еще заработаеть!

И всѣ цѣловали маленькаго коропуза, который, лежа въ чистенькой кроваткѣ, игралъ купонами: ручками и ножками.

— А не обръзать ли намъ ему всъ четыре купончика?! — весело подмигивалъ дъдъ. — Пусть грабитъ компанію! А?

Вся семья понесла маленькаго Жако "на мъсто".

Младенчикъ улыбался и смотрълъ весело своими глазенками.

— Молодчина!

Маленькаго Жако уложили на мъсто, мать расцъловала его въ объ пухлыя щечки и пригрозила пальчикомъ, чтобъ лежалъ смирно. Рельсы гудъли уже, стонали, дрожали.

Всв отошли въ сторону отъ полотна.

Но, оставшись одинъ, маленькій Жако забарахтался ручками и ножками, сталъ на четвереньки и взлъзъ верхомъ на рельсъ.

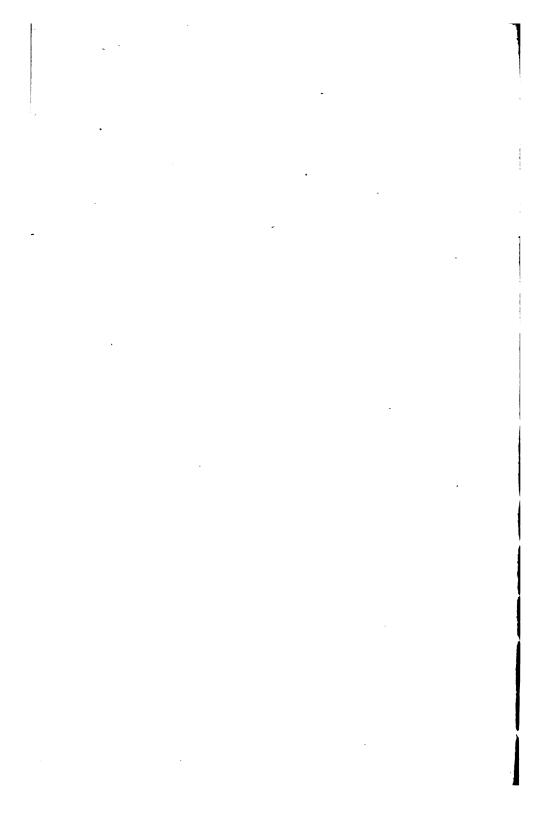
Изъ-за поворота съ громомъ вылетълъ паровозъ курьерскаго поъзда...

— Пополамъ ангельчика! — разсказывала мнѣ Жанна.—Умилительно было смотрѣть! Пополамъ! Какъ арбузикъ! Сверху бѣленькій, а въ середкѣ весь красненькій. А кругомъ кишочки, кишочки! Гарнирчикомъ! Красота!

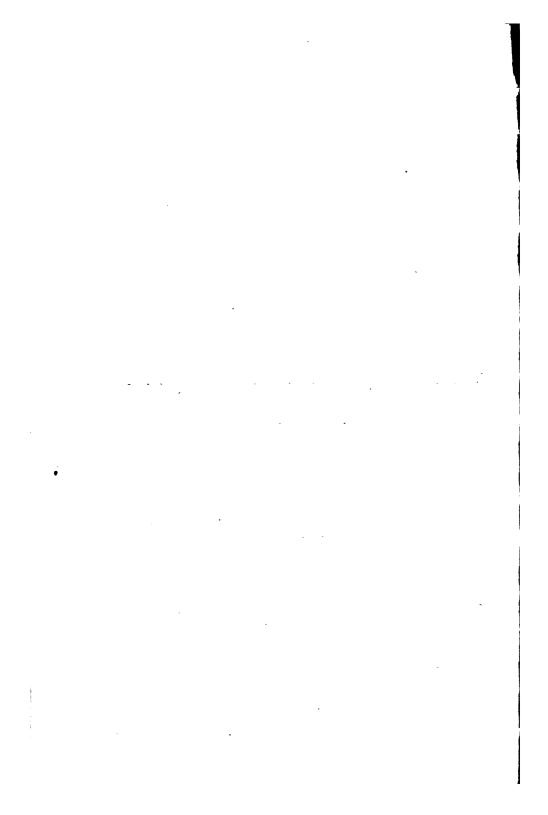
И ничего за младенца не дали.

— Свинство! — выругался старикъ Жако. — За купонъ деньги, а за цълую акцію ничего!





Человъкъ, котораго ихтервьюировали.



Человѣкъ, котораго интервьюировали.

(Петербургскій типъ).

Какъ это случилось въ первый разъ, Иванъ Ивановичъ даже не можетъ дать себъ отчета.

Это произошло вечеромъ, въ нолумракъ кабинета. Дрожали красныя, синія, желтыя пятна, которыя бросаль разноцвътный фонарикъ. Молодой человъкъ сидълъ передъ Иваномъ Ивановичемъ, наклонившись, съ жадно раскрытыми глазами, засматривая ему въглубину очей, казалось, страдалъ и млълъ и только иногда шепталъ:

— Дальше... дальше...

Ивану Ивановичу казалось, что молодой человъкъ гипнотизируеть его своимъ взглядомъ. У него слегка кружилась голова. Онъ былъ въ какомъ-то опьянъніи. Его охватывало волненіе. Онъ говорилъ, говорилъ... и когда кончилъ, молодой человъкъ поднялся и поклонился.

— Это все, что миъ было нужно. Вы интервьюированы!

Иванъ Ивановичъ почувствовалъ, что онъ летитъ въ пропасть.

Онъ словно пробудился отъ сладкаго сна. Его охватилъ ужасъ.

Онъ хотълъ крикнуть вслъдъ уходившему молодому человъку:

— Стойте!.. Стойте!..

У него даже мелькнула въ головъ мысль:

— Убить его и спрятать трупъ.

Но было поздно. Тоть ушель.

Иванъ Ивановичъ остался недвижимый въ креслъ. Голова кружилась. Подъ ложечкой тоскливо сосало. Кости ныли, словно Ивана Ивановича кто-то исколотилъ.

И одна только мысль, не шевелясь, сидъла въ мозгу:

"Вотъ меня и интервьюировали!"

Ему вдругь захотвлось кислой капусты.

- Что это я?—опомнился Иванъ Ивановичъ и приказалъ сдълать постель.
- Никого не принимать, и я никуда не поъду. Мнъ что-то не по себъ.

Онъ съ наслажденіемъ зарылся въ свѣжее, чутьчуть надушенное бѣлье, свернулся клубочкомъ въ холодномъ полотнѣ, задулъ ночникъ и долго лежалъ съ открытыми глазами.

Ему было страшно и пріятно.

Онъ старался думать о томъ, что произошло, съ отвращениемъ и не могъ: противъ воли воспоминанія наполняли его блаженствомъ.

— А ловко я мысль объ учрежденіи института экзекуторовъ пропустилъ... Прямо противъ Василья Васильича... Пусть съъстъ! Хе-хе!..

Онъ заснулъ поздно, среди какого-то блаженнаго бреда, и спалъ тревожно,—его мучили кошмары.

Онъ кричалъ во снъ и метался.

Ему снились народныя толпы. Онъ смотръли на него съ изумленіемъ, съ благоговъніемъ.

— Ахъ, какіе у васъ взгляды! Какія мысли! Какой умъ!..

Подходили ближе, ближе и вдругъ, подойдя совсъмъ вплотную, показывали на него пальцемъ, кричали:

- Человъкъ, котораго интервьюировали!

Хохотали и разбъгались.

И такъ разъ восемьдесять.

Иванъ Ивановичъ проспулся въ холодномъ поту, съ легкой головной болью. Одъяло, простыни были скомканы, подушки валялись на полу.

Онъ взялся за газету и почувствоваль, что у него отнимаются руки и ноги. На первой страницъ крупнымъ шрифтомъ чернъло:

"О реформахъ нашихъ департаментовъ. Интервью съ его превосходительствомъ Иваномъ Ивановичемъ Ивановымъ".

Каждое слово, которое онъ сказалъ вчера, стояло теперь чернымъ по бълому, выдълялось, кричало. Тысячи, десятки тысячъ людей теперь читали то, что онъ думалъ.

Иванъ Ивановичъ чувствовалъ себя такъ, словно съ него на Невскомъ на солнечной сторонъ въ два часа дня упала часть туалета и всъ увидъли его сокровенное.

Ему было стыдно и — удивительно! — пріятно.

"Что жъ, дай Богъ всякому!" подумалъ Иванъ Ивановичъ, перечитавъ свои мысли.

Мысль о департаментъ, однако, наполнила душу Ивана Ивановича ужасомъ.

— Читалъ! — почувствовалъ Иванъ Ивановичъ, когда швейцаръ отвернулся, снимая съ него шубу, и у него екнуло сердце.

Онъ пошелъ на цыпочкахъ вдоль стънки и въ эту минуту отдалъ бы все свое жалованье, чтобъ только его никто не замътилъ.

При входъ Ивана Ивановича все стихло. Мелкіе чиновники глубже ушли въ бумаги. Средніе начали вдругъ всъ почему-то рыться въ столахъ. Покрупнъе, подавая руку, старались не глядъть Ивану Ивановичу въ глаза и говорили что-то нескладное:

— Какой сегодня на дворъ великолъпный театръ... Скоро ли будетъ числовое двадцато?..

"Словно по-сербски", тоскливо подумалъ Иванъ Ивановичъ.

— Всъ прочли... Всъ знаютъ...

Только одинъ Степанъ Степановичъ глядълъ на него изъ своего угла прямо и пристально.

Степанъ Степановичъ потому и сидълъ въ самомъ углу, что онъ имълъ неизлъчимую болъзнь интервью ироваться. Ръдкій день въ газетъ не появлялось интервью съ Степаномъ Степановичемъ. Отъ Степана Степановича чуждались, съ нимъ избъгали говорить, особенно при постороннихъ:

— Ну его! Еще возьметь да въ интервью вставить: "хотя нѣкоторые изъ моихъ товарищей и полагають такъ-то, но я нахожу этоть взглядъ неосновательнымъ". Да въ видѣ "неосновательнаго взгляда" ваше мпѣніе и выведеть.

Степанъ Степановичъ и самъ понималъ, что ведетъ себя предосудительно, держался въ уголкъ, ни съ

къмъ не заговаривалъ, ни на кого не смотрълъ, руку подавалъ робко, словно успокоивалъ:

"Не бойтесь! Не бойтесь! Въдь я не заражу васъ своимъ прикосновеніемъ. Отнеситесь же ко мнъ хоть немножко по-человъчески, не отказывайте подать руку!"

Теперь Степанъ Степановичъ смотрълъ на Ивана Ивановича прямо и смъло. Словно радостно, какъ будто слегка насмъшливо.

"Старая кокотка такъ смотрить на начинающую!" пришло вдругь въ голову Ивану Ивановичу отвратительное сравненіе, и ему сдълалось такъ нехорошо, что онъ даже вышелъ не надолго.

Его мъсто было по самой срединъ комнаты, и Иванъ Ивановичъ сидълъ ни живъ ни мертвъ, боясь поднять глаза. Куда бы онъ ни повернулъ голову, все въ той сторонъ моментально низко склонялось надъ бумагами, словно даже бумаги— и тъ становились неразборчивыми отъ взгляда Ивана Ивановича, или начинало рыться въ столахъ, или смотръло въ окна, на стъны въ величайшемъ смущеніи.

Иванъ Ивановичъ попробовалъ было разсеять эту тяжкую атмосферу томительнаго молчанія.

Помолился въ душъ и громко сказалъ:

— Читали вы, господа...

Но самъ не узналъ своего голоса.

Да и кругомъ все взглянуло на него съ такимъ испугомъ, что Иванъ Ивановичъ почувствовалъ, какъ у него отнялись ноги и языкъ.

Было тяжело, мучительно тяжело.

Ивану Ивановичу вспомнилась одна пьеса, которую онъ видълъ когда-то у мейнингенцевъ. Изъ древнегерманской жизни. Римскіе солдаты, остановившіеся въ германской деревнъ, совершили гнусное преступление надъ германской дъвушкой.

И вотъ ночью сбътаются жители деревни. Сцена, при мерцающемъ свътъ факеловъ, наполняется страшнымъ, ледянящимъ душу шопотомъ. "Объ этомъ" никто не ръшается сказать громко. Вводятъ дъвушку, и гасятъ всъ факелы, чтобъ никто не видълъ ея лица...

"Словно я германская дъвушка!" съ тоскою думалъ Иванъ Ивановичъ и въ первый разъ перевель духъ, когда въ половинъ третьяго стемнъло и комната департамента погрузилась во мракъ.

Но самое страшное было, когда одинъ изъ вызвавшихъ его просителей началъ свою ръчь къ Ивану Ивановичу такъ:

— Прочитавъ сегодня въ газетахъ ваши просвъщенные взгляды, осмъливаюсь...

Иванъ Ивановичъ схватился за притолоку:

"Всѣ знаютъ... всѣ"...

Безумныя мысли закружились у него въ головъ:

"Убить просителя и спрятать трупъ".

Но голось благоразумія взяль верхь:

"Всѣхъ не перебьешь... Всѣхъ перебить **невоз-**можно"...

Да къ тому же въ его ушахъ прозвучалъ въ эту минуту, словно труба архангела, страшный голосъ курьера:

— Васъ къ директору!

Шатаясь, Иванъ Ивановичъ вошелъ.

Въ кабинетъ было полутемно.

— A, это вы...—сказалъ директоръ, отвернулся и подалъ ему руку, какъ показалось Ивану Ивановичу, неръшительно.

Подалъ и сейчасъ же отдернулъ.

"Убить директора и спрятать его трупъ?" мелькнула въ головъ Ивана Ивановича опять та же безумная мысль, и ему вдругь мучительно, страстно, болъзненно захотълось, чтобы въ эту минуту случилось свътопреставленіе.

Директоръ смотрълъ въ сторону, барабанилъ пальцами, видимо, хотълъ что-то сказать, но говорилъ совсъмъ другое.

— Какая хорошая погода! — сказалъ директоръ.

Иванъ Ивановичъ шевелилъ сухими губами.

— На улицъ ъздитъ много извозчиковъ!— сказалъ директоръ и, не получая отвъта, добавилъ: — Вообще на улицахъ завелось что-то слишкомъ много извозчиковъ...

Иванъ Ивановичъ отъ этихъ странныхъ фразъ директора еще больше страдалъ. Наконецъ онъ облизнулъ сухимъ языкомъ сухія губы, собралъ всъ силы и воскликнулъ:

— Петръ Петровичъ... Ваше превосходительство...

Его голосъ пересъкся и зазвенълъ какъ оборванная струна.

Въ кабинетъ послышались тихія всхлипыванія.

. Директоръ заговорилъ. Въ голосъ его тоже послышались слезы:

— Иванъ Ивановичъ... Успокойтесь... Не надо... Въдь я же не звърь, я понимаю... Ничего особеннаго... Даже очень дъльно... Но только отчего же вы всего этого мнъ на словахъ не сказали, а такъ, вдругъ. въ газетъ?..

Всхлипыванія раздались сильнъе.

- Ну, ну!.. Не буду... Не надо.. Я не спрашиваю, какъ это случилось! Не надо!.. Не разсказывайте!.. Я знаю, вамъ больно... Но, Иванъ Ивановичъ, дорогой мой... Одна просьба!.. Ну, случился гръхъ, съ къмъ не бываетъ... Но впередъ не впадайте... Затягиваетъ это... Я знаю... Вонъ посмотрите, Степанъ Степановичъ...
- Петръ Петровичъ, воскликнулъ Иванъ Ивановичъ, —да неужели я Степанъ Степановичъ?...

И рыданія хлынули изъ его груди...

Сравнить его со Степаномъ Степановичемъ! Это было ужъ слишкомъ.

"Вотъ когда я погибъ!—вспоминалъ потомъ Иванъ Ивановичъ. — Убилъ онъ меня, назвавъ Степаномъ Степановичемъ".

Директоръ даже испугался.

— Да я не сравниваю... Что вы?.. Иванъ Ивановичъ!.. Я предупреждаю только... Отечески предупреждаю... Въдь "они" начнутъ теперь шляться... Ахъ, Господи! Командировку, что ли, вамъ дать куданибудь, чтобы вы провътрились?!

Въ горлъ Ивана Ивановича высохли слезы.

- Нътъ съ, ваше превосходительство, никакой командировки на надо... Никуда я не поъду... Я останусь туть бороться. Пусть ко мнъ ъздять, пусть искушають... Борьбой, борьбой со страстями я искуплю невольное паденіе... Искуплю и восторжествую!
- И, сдълавъ поклонъ, онъ шатающейся походкой пошелъ къ двери.
- Богъ вамъ да поможеть въ вашемъ подвигъ!— напутствовалъ его вслъдъ директоръ, а когда Иванъ Ивановичъ выходилъ изъ двери, онъ слышалъ, какъ директоръ говорилъ экзекутору:

- Вотъ и еще одного чиновинка мив испортили! Въ коридоръ Ивана Ивановича, оказывается, поджидалъ Степанъ Степановичъ.
- Хотите, батюшка, я вамъ одного репортера пришлю! — страстно прошепталъ Степанъ Степановичъ, — Какъ, шельма, интервьюпруетъ!!!

Иванъ Ивановичъ даже отпрянулъ въ ужасъ и воскликнулъ:

- Отойди отъ меня, сатана!

Темно было въ департаментахъ, а на улицъ было еще достаточно свътло, и Иванъ Ивановичъ, возвращаясь домой, узналъ на встръчномъ лихачъ того самаго молодого человъка, который его вчера интервью-ировалъ.

Молодой человъкъ ликовалъ. Иванъ Ивановичъ считался самымъ неприступнымъ изъ дъйствительныхъ статскихъ совътниковъ, и за интервью съ нимъ молодому человъку заплатили въ редакціи по двойному тарифу.

Молодой человъкъ радостно закивалъ Ивану Ивановичу.

У Ивана Ивановича кровь бросилась въ голову, ему захотълось вдругъ остановить извозчика, закричать:

— Стой! Городовой! Держи его! Взять! Онъ развращаеть дъйствительныхъ статскихъ совътниковъ!

Но лихачъ уже промелькнулъ и затерялся въ толпъ экипажей.

Вернувшись домой, Иванъ Ивановичъ объявилъ, что никуда не поъдетъ.

— Куда ни поъдешь, вездъ "про то" говорить будуть! Онъ даже въ клубъ ве отправился объдать. Просидълъ, не ввши, и, быть-можетъ, слабостью вслъдствіе голода и объясняется то, что случилось.

Въ семь часовъ въ кабинетъ вошелъ другой молодой человъкъ, съ безпокойно ласковымъ взглядомъ, сълъ противъ Ивана Ивановича и, нъжно наклонившись къ нему, мягко спросилъ:

- Что вы думаете о резиновыхъ калошахъ?

Иванъ Ивановичъ хотълъ вскочить, крикнуть прислугу, приказать избить ласковаго молодого человъка резиновыми калошами, но самъ не знаетъ, какъ вмъсто всего этого сказалъ:

— Думаю, что резпновыя калоши полезны вслъдствіе только дешевизны, но въ смыслъ сохраненія пальцевъ на ногахъ предпочитаю кожаныя...

и пошелъ...

На слъдующій день съ Иваномъ Ивановичемъ іъ департаментъ даже не всъ поздоровались, экзекуторъ сухо сказалъ:

— По распоряженію г. директора, изъ вашего въдынія будуть изъяты всё дёла, не подлежащія оглашенію.

Но Ивану Ивановичу — странное дѣло, онъ длже самъ удивлялся своему равнодушію — было все какъ съ гуся вода. Въ эти ужасныя минуты его волновала только одна мысль:

"Нѣтъ, что же онъ, подлецъ, про буквы металлическія ничего не напечаталъ. Вѣдь я говорилъ, что металлическія буквы въ калошахъ вредны, ибо портятъ сапоги. Забылъ, должно-быть! Надо будетъ за нимъ послать!"

Степанъ Степановичъ подлетълъ къ Ивану Ивановичу уже смъло, утащилъ его въ уголъ и шопотомъ сказалъ:

— Читалъ. Хорошо. Но все-таки не такъ, какъ мой, съ которымъ я интервьюируюсь. Вотъ, подлецъ, умъетъ. Всю подноготную переберетъ. До души до-кодитъ. Хотите, пришлю разочка на два. Пусть интервьюируетъ. Удовольствіе получите!

Иванъ Ивановичъ прошепталъ:

— Пришлите!

Степанъ Степановичъ разсмъялся и по плечу его похлопалъ:

— Такъ-то! А то "сатаной" вчера назвали! День только потеряли.

И Иванъ Ивановичъ, къ удивленію, за такую фамильярность не только не послалъ Степана Степановича къ чорту, а, напротивъ, позвалъ въ трактиръ объдать.

И вечеръ они провели въ трактиръ, въ пьянствъ и разговорахъ:

— Какъ лучше интервьюироваться?

Послѣ обѣда они ѣздили къ какимъ-то интервьюерамъ, пили съ ними пиво, кажется, танцовали, и на утро Иванъ Ивановичъ прочелъ въ пяти (газетахъ пять интервью съ нимъ:

- "О нормальной длинъ юбочекъ у балетныхъ танцовщицъ".
 - "Брать ли намъ Гератъ?"
 - "О мърахъ къ предупрежденію наводненій".
 - "О лучшей закускъ къ водкъ".
 - "Что, по его мивнію, сдвлалось съ Андра".

Что произошло дальше?

Объ этомъ грустно и разсказывать.

Въ одинъ хмурый, ненастный день директоръ, даже не лично, а черезъ экзекутора—объявилъ Ивану Ивановичу свою волю:

- Подавайте прошеніе.

И Иванъ Ивановичъ не только не смутился, но даже громко спросилъ:

— За что?

Экзекуторъ даже не нашелся отвътить, да Иванъ Ивановичъ и не ожидалъ отвъта. Смъло и вызывающе глядя всъмъ въ глаза, онъ кинулъ, словно вызовъ:

— За то, что я интервью ируюсь?

Всъ были въ ужасъ. Онъ еще бравируетъ этимъ!

— A Степанъ Степановичъ? — вызывающе бросилъ Иванъ Ивановичъ.

Это ужъ было черезчуръ! Экзекуторъ сдълалъ самое суровое лицо и отвъчалъ, отчеканивая каждое слово:

— Даже Степанъ Степановичъ не доходилъ до такой распущенности. Степанъ Степановичъ интервьюируется постоянно съ однимъ. А вы съ къмъ ни попадя. Ни одного дня ни одной газеты не выходитъ безъ интервью съ вами. Прощайте.

И даже Степанъ Степановичъ не подалъ ему руки и отвернулся, когда Иванъ Ивановичъ выходилъ изъканцеляріи.

Переступая въ послъдній разъ порогь канцеляріи, Иванъ Ивановичъ чувствоваль, что для него все гибнеть, и какое-то дикое, веселое отчаяніе охватило его. Какое-то безстыдство овладъло имъ. Ему захотълось безстыдничать, приводить всъхъ кругомъ въ ужасъ, въ негодованіе, пить чашу презрънія.

На порогъ онъ обернулся и крикиулъ на всю канцелярію:

— Хотите я къ вамъ, ко всъмъ, интервьюеровъ пришлю?! Ахъ, хорошо, подлецы, интервьюировать умъють!

Онъ ожидалъ воплей негодованія, угрозъ, криковъ: "вывести его!"

Въ отвътъ было гробовое молчаніе.

И среди гробового молчанія Иванъ Ивановичъ, блѣдный, шатающійся, вдругъ обезсилѣвшій, вышель изъ канцеляріи. Даже швейцаръ не надѣлъ ему въ рукава, а набросилъ на плечи шинель.

— Погибъ, погибъ! — шепталъ Иванъ Ивановичъ, идя домой пъшкомъ.

А вечеромъ въ его квартиръ шелъ дымъ коромысломъ. Иванъ Ивановичъ... праздновалъ свое изгнанье въ кругу репортеровъ, пилъ, плясалъ для нихъ русскую и кричалъ:

— Выгнали! Слава Богу! Теперь я свободенъ! Теперь я вашъ! Интервью прупте меня по 24 часа въ сутки! Пусть публика знаетъ всв мои мысли! Ничего сокровеннаго у меня нътъ!

И отвъчалъ сразу на шесть вопросовъ по шести разнымъ предметамъ.

Даже репортеры изумлялись откровенному безстыдству его отвътовъ.

И вотъ потянулись ужасные дни.

Въ кабинетъ Ивана Ивановича, обыкновенно чистомъ, слегка благоухающемъ, запахло какой - то казармой, типографской краской, промозглымъ пивомъ, много ношенными сапогами, скверными папиросами.

И Иванъ Ивановичъ ходилъ по бълому когда-то, теперь насквозь проплеванному ковру, отбрасывалъ ногой валявшіеся окурки и олово отъ пивныхъ бутылокъ и съ удовольствіемъ втягиваль въ носъ острый запахъ скверныхъ папиросъ.

— Эхъ, јадорово репортеромъ пахнетъ... Хоть бы пришелъ кто изъ нихъ!

Утромъ, едва Иванъ Ивановичъ брался за газеты, у него просыпался какой-то зудъ:

— Хорошо бы по этому вопросу мнвніе высказать... Ахъ, и по этому бы и по этому...

И онъ съ трепетомъ ждалъ, когда вздрогнетъ звонокъ, самъ выбъгалъ въ переднюю, самъ снималъ съ вошедшаго пальто и говорилъ, почти задыхаясь:

- Интервьюируйте меня! Интервьюируйте! Чъмъ вы меня сегодня? Иностранной политикой долбанете?
- Нътъ. На очереди стоитъ вопросъ: какъ лучше солить огурцы?

И онъ интервьюировался, интервьюировался, интервьюировался съ какимъ-то бъщенствомъ, говорилъ обо всемъ: о Чемберлэнъ, огуречномъ разсолъ, древнихъ языкахъ, о томъ, что зналъ, и съ особымъ наслажде. ніемъ о томъ, чего вовсе не зналъ.

Но готь звонки въ квартиръ Ивана!Ивановича стали раздаваться все ръже и ръже...

Редакторы болъе не принимали интервыю съ Ивановичемъ:

— Надовлъ! Во всвхъ газетахъ!

Репортеры развращами другихъ дъйствительныхъ статскихъ совътниковъ и даже на улицъ, при встръчъ съ Иваномъ Ивановичемъ, вскакивали на перваго попавшагося извозчика и уъзжали, крича:

- Поскорѣе!

Потянулись истинно тяжкіе дни. Иванъ Ивановичь, говорять, пересталь курить свои гаванскія сигары и куриль самыя скверныя папиросы.

— Репортеромъ пахнетъ!

Это создавало бъднягъ иллюзію. Цълые дни, говорять, онъ сидълъ одинъ, разговаривая вслухъ самъ съ собою, задавая самъ себъ нелъпые вопросы и давая на нихъ самые нелъпые отвъты.

- А какъ вы думаете, ваше превосходительство, можеть Патти еще разъ выйти замужъ?—спрашиваль онъ себя, слегка измънивъ голосъ, и отвъчалъ своимъ собственнымъ голосомъ:
 - Отчего бы и нътъ? Думаю, что можетъ! Это заключилось катастрофой.

На-дняхъ Ивана Ивановича судили у мирового за избіеніе нъкоего мъщанина, занимающагося литературнымъ трудомъ.

Изъ протокола выяснилось, что городовой, стоя вечеромъ на углу безлюдной площади, услыхалъ безумные вопли, летъвшіе откуда-то изъ сугроба снъга. Прибъжавъ на мъсто происшествія, онъ увидълъ изъстнаго ему [литературнаго мъщанина, на которомъ сидълъ верхомъ Иванъ Ивановичъ, тузилъ молодого человъка кулаками, по чемъ ни попадя, и кричалъ:

— Нътъ, ты будешь меня интервьюировать, будешь!

Свидътели-репортеры показали, что Иванъ Ивановичъ положительно не даетъ имъ прохода. Одного прищучилъ у Доминика, когда тотъ хотълъ уходить, не заплативъ за пирожки:

- Интервьюируй меня или буфетчику скажу!

Другого семь дней ждаль у выхода изъ редакціи, такъ что тоть должень быль уходить въ трубу.

Третьяго настигь въ глухомъ переулкъ и грозилъ застрълить, если тоть его туть же не будеть интервымировать по вопросу объ употреблении мелинита при осадъ кръпостныхъ бастіоновъ. Репортеры просили мирового судью оградить ихъ отъ приставаній Ивана Ивановича:

— Насъ другіе дъпствительные статскіе совътники, желающіе интервью проваться, ждуть.

Мировой судья приговорилъ Ивана Ивановича на двъ недъли ареста.

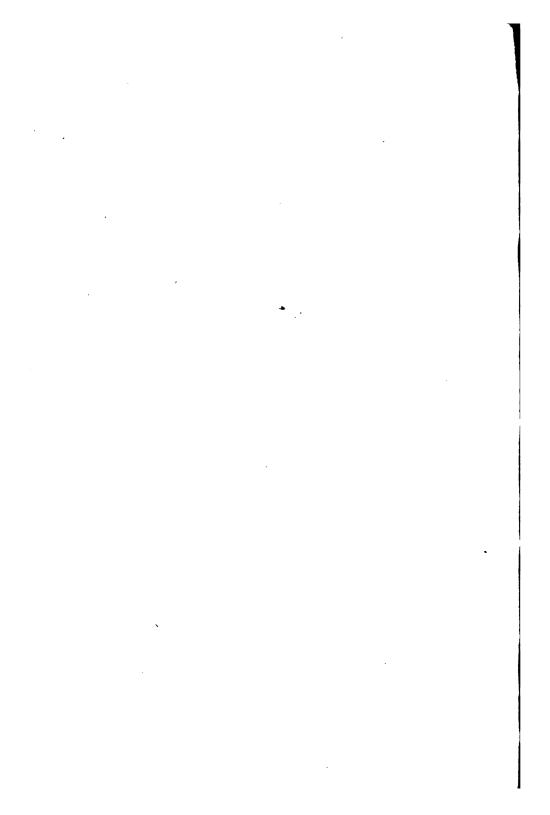
Намъ будетъ очень прискорбно, если этотъ фельетонъ попадетъ въ руки Ивана Ивановича.

Горько зарыдаеть бъдняга:

— Изъинтервьюирують, да еще насмъхаются!



Замъчательнъйшій городъ въ міръ.



Замѣчательнѣйшій городъ въ фім.

(Изъ скитаній по білу світу.)

Замъчательнъйшій въ міръ городъ.

Это не Парижъ, не Лондонъ, не Римъ, не Нью-Йоркъ, а Боннъ.

Крошечный городокъ съверной Швейцаріи, расположенный въ небольшой котловинкъ, которую со всъхъ сторонъ окружають невысокія горы.

Такъ что, когда вы подъвзжаете, эта котловинка кажется вамъ большимъ круглымъ зеленымъ тазомъ, на днъ котораго осталось немного сора. — Это и есть Боннъ—"замъчательнъйшій городъ въ міръ".

Я попалъ туда совершенно случайно.

Вхалъ мимо и завхалъ. Безъ всякаго двла, безъ всякой цвли,—просто, чтобы гдв-нибудь остановиться и отдохнуть отъ чудныхъ швейцарскихъ видовъ.

Ничто такъ не утомляетъ, какъ эти "виды", открывающіеся изъ окна желъзной дороги.

И чъмъ мъстность красивъе, тъмъ это утомительнъе. Словно вы цълый день просидъли передъ какой-то движущейся панорамой.

Въ концъ-концовъ вамъ прямо хочется крикнуть:

— Баста! Меня уже начинаетъ тошнить отъ этихъ красивыхъ видовъ.

И вы выходите на первой попавшейся станціи. Такой станціей для меня оказался Боннъ.

Онъ очень милъ, глядя со стороны, а первый его житель, котораго я увидълъ—единственный во всемъ городъ извозчикъ, дожидавшійся на станціи,—оказался привътливымъ и разговорчивымъ парнемъ.

Онъ очень удивился, когда я приказалъ ему везти меня въ гостиницу.

— Въ гостиницу?.. Видите ли, у насъ нътъ гостиницы... Но я васъ отвезу къ г. пастору... Пасторъ Люгеръ, — его-то вы, навърное, знаете?

Я отвъчалъ, что не знаю на обоихъ полушаріяхъ никакого пастора Люгера.

Мой возница поглядълъ на меня съ изумленіемъ:

"Что это, молъ, за человъкъ? Съ неба, что ли, свалился?"

— Не знаете пастора Люгера? Въ такомъ случать тъмъ лучше. Вамъ слъдуеть съ нимъ познакомиться: одинъ изъ ученъйшихъ людей въ свътъ. Что касается до гостепримства, то г. пасторъ не даромъ имъ славится... Хе-хе! Вы скоротаете съ нимъ не одинъ добрый часокъ и врядъ ли скоро захотите уъхать отъ такого человъка.

Пасторъ Люгеръ оказался, на самомъ дѣлѣ, очень милымъ и добродушнымъ пожилымъ человѣкомъ.

- Добро пожаловать! Добро пожаловать!—говориль онь, вводя меня въ свой маленькій, чистенькій, настоящій "пасторскій" домикъ.—Добро пожаловать! Вы, въроятно, путешествуете съ цълью изученія нравовь и осмотра достопримъчательностей?...
 - Да, въ этомъ родъ...

- О, въ такомъ случав вы не раскаетесь въ томъ, что завхали въ нашъ Боннъ. Тутъ вы найдете многое, достойное и вашего вниманія и изученія... Позвольте узнать, сколько вамъ лють?
 - Миъ тридцать два.

Пасторъ слегка вздохнулъ.

- Конечно, очень жаль, что вы не сдълали этого раньше. Тогда бы знакомство съ Бонномъ, быть-можетъ, принесло вамъ еще больше пользы, быть-можетъ, даже совершенно иначе направило ваши способности и самую вашу карьеру. По-моему, молодые люди должны знакомиться съ Бонномъ въ возрастъ отъ семнадцати до двадцати лътъ. Къ сожалъню, этимъ обыкновенно пренебрегаютъ, и многіе даже во всю свою жизнь ограничиваются только знакомствомъ съ Женевой, Базелемъ, Парижемъ, Берномъ и Лондономъ!
- Г. пасторъ сдълалъ жестъ, красноръчиво выражавшій его искреннее сожальніе къ этимъ "многимъ".
- Было бы, повторяю, лучше, если бы вы познакомились съ Бонномъ раньше. Но что дѣлать! Вамъ, вѣроятно, мѣшали дѣла. Никогда не поздно обогатить свой умъ новыми свѣдѣніями. Добро пожаловать, мой молодой другъ!

Я поблагодарилъ пастора за любезный пріемъ.

— Не за что! Не за что! Боннъ всегда былъ извъстенъ своимъ гостепріимствомъ. Всегда! Ба, однако "соловья баснями не кормятъ", какъ говорятъ у насъ въ Боннъ. Вы пріъхали какъ разъ въ часъ объда. Сейчасъ войдетъ моя жена.

Колоколъ во дворъ звучно пробилъ шесть ударовъ, и въ комнату вошла г-жа пасторша, очень полная

пожилая дама, съ добрымъ, открытымъ, привътливымъ лицомъ.

— Нашъ молодой [другъ, путешественникъ, пріъхавшій осмотръть нашъ Боннъ. Госпожа Люгеръ, моя жена! — представилъ пасторъ.

Я ожидаль, кто еще должень явиться на звонь въчевого колокола.

— Чего же мы, однако, дожидаемся? — спросилъ г. пасторъ. — Ахъ, васъ, въроятно, ввелъ за заблужденіе ввонокъ. Видите ли, въ него звонятъ на случай, если меня нътъ дома. Таковъ обычай. И не намъ мънять старые обычаи.

Мы перешли въ столовую.

Пасторша и пасторъ оказались, дъйствительно, гостепримнъйшими въ міръ людьми.

Пасторша безпрестанно подкладывала мнъ на тарелку, словно имъла основаніе предполагать, что я недъли двъ ничего не ълъ.

А пасторъ "рекомендовалъ" блюдо.

- Да вы почти ничего не вдите! приходила въ ужасъ добрая пасторша. когда я съвдалъ вторую тарелку. Конечно, у насъ за нашимъ скромнымъ столомъ вы не найдете того, къ чему привыкли въ Парижъ и Лозаннъ.
- Довольно, жена! съ достоинствомъ останавливалъ ее г. пасторъ. У насъ господинъ путешественникъ найдетъ зато одинъ изъ гигіеничнъйшихъ и вкуснъйшихъ объдовъ, какіе можно найти гдъ бы то ни было! Да, вкуснъйшихъ, потому что госпожа Люгеръ, я долженъ вамъ сказать, одна изъ лучшихъ хозяекъ въ міръ. Для того, чтобъ убъдиться въ этомъ, достаточно взглянуть на ея коровникъ.

- Ахъ, Іоганнъ, ты просто заставляещь меня краснъть своими похвалами...
- Не для чего краснъть. Скрывать слъдуеть только пороки, а никакъ не достоинства. Скрывать достоинства—это такъ же нехорошо и предосудительно, какъ и обпаруживать свои пороки. Не такъ ли, г. путешественникъ?
 - 0, несомивнно, г. насторъ!..
- Я попрошу васъ взять еще немного этого салата. Не правда ли, не вездъ можно встръчать такой? О, почва Бонна—удивительная почва. Она еще не изслъдована, какъ слъдуеть, но я увъренъ, что ученые, когда займутся, найдуть въ ней много разныхъ солей! Я даже думаю, что подъ нею должны быть большія залежи минераловъ, съ такимъ трудомъ эта почва впитываеть въ себя влагу. Нъкоторые находять, будто почва Бонна нъсколько болотиста. Но это не такъ, благодаря минераламъ. Я увъренъ, что тутъ замъшаны минералы!
- Я попрошу васъ отвъдать вотъ этой рыбы и высказать свое мнъніе. Эта рыба водится въ озеръ около Бонна и называется "караси". "Караси". Запишите, если хотите, названіе. Въ Боннъ ее готовять обыкновенно со сметаной.
- Что? Какъ вамъ нравится наша рыбка? Прибавьте, если хотите, еще немножко сметаны. Ничего, это не вредить! Такой сметаны, я увъренъ, вы не найдете ни въ Парижъ ни въ Нью-Йоркъ.

Словомъ, я навлся до отвала всевозможныхъ ръдкихъ и диковинныхъ блюдъ, и тогда намъ подали стараго вина — "одну изъ старъйшихъ бутылокъ на свътъ". — Опа сохраняется уже четвертый годъ! На ней появилась даже пыль! — пояснилъ г. пасторъ.

Мы запили все это чашечкой кофе, свареннаго такъ, "какъ умъетъ варить только пасторша".

— Это ея секретъ, котораго она не открываетъ даже мнъ! — улыбнулся пасторъ.

Секретъ, котораго не зналъ даже г. пасторъ, отлично зналъ я. Это былъ кофе, сваренный съ гущей, по-турецки. Я, конечно, могъ бы тутъ же открыть секретъ г-жи пасторши, но зачъмъ разочаровывать такихъ милыхъ людей?

- Теперь мы можемъ пройтись и осмотръть достопримъчательности города! - сказалъ г. пасторъ, вставая изъ-за стола. -- Совътую вамъ взять вашу палку. мой молодой другъ. Собаки Боина, надо отдать имъ полную справедливость, однъ изъ злъйшихъ въ міръ. Онъ разорвали на своемъ въку уже не однъ панталоны. И если бъ еще, къ счастью, онв не были нъсколько трусливы, это было бы величайшимъ бъдствіемъ для человъчества. Итакъ, берите вашу палку и въ путькъ достопримъчательностямъ Бонна. Я увъренъ, вы не раскаетесь въ томъ, что ради нихъ пройдете весь городъ! Прежде всего я покажу вамъ, конечно, нашу церковь. Одно изъ простъпшихъ, но тъмъ-то и замъчательныхъ произведеній архитектурнаго искусства. Она построена на пожертвованія Людвига Крейцера Вы слышали, быть-можеть, это имя?
 - Нътъ... г. пасторъ... я не припомню...
- Жаль, что біографіи такихъ людей не печатаются въ большихъ газетахъ. Это было бы очень поучительно для юношества. Впрочемъ, вы могли бы, если бъ захотъли ознакомиться подробнъе съ біографіей мого

замъчательнаго человъка, найти ее въ нашей газетъ... - Номеръ... Да, да! № 6 за 1875 годъ "Боннскаго Еженедъльнаго Телеграфа". Вы можете достать его гдъ угодно, — мы въдь высылаемъ нашу газету gratis во всв музеи! Да, это быль замвчательный человвкъ. Онъ могъ бы послужить для міра примфромъ добросовъстности. Въ его колбасной лавкъ не было примъра, чтобы обсчитали хоть на пять раппеновъ самаго маленькаго мальчика. А колбаса, которую онъ дълалъ, славилась на всю окрестность. Ее брали съ собой даже за важавшие сюда путешественники! Но ни богатства, ни слава, ни общирныя торговыя дёла — ничто не заставило его гордиться. Онъ быль благотворителемъ всю свою жизнь: онъ никогда не продаваль остатковъ, которые бывають при выдълкъ колбасъ, а всегда всв ихъ отдавалъ бъднымъ. Вотъ это былъ какой человъкъ! Какъ вамъ нравится это создание архитектуры?

— 0, г. пасторъ!

Во время рѣчи г. пастора мы уже прошли весь городъ и стояли передъ миніатюрной церковью съ такой же колокольней.

— Нъть, вы обратите вниманіе на простоту, какъ нельзя болье гармонирующую съ назначеніемъ зданія. Не правда ли, какая глубина мысли? Зато колокольня прямо уносится въ небо.

Я посмотрълъ и на маленькую колокольню, вышиною въ 4 сажени, которая "уносилась въ небо".

- Одно изъ высочайшихъ зданій въ Европъ!
- Но, г. пасторъ, невольно вырвалось у меня, на свътъ въдь существуеть еще и Эйфелева башня! Вырвалось,—и я сейчасъ же пожалъль объ этомъ.

Лицо пастора приняло грустное выражение Онъ съ глубокимъ сожалъниемъ покачалъ головой.

— Да, вы правы, мой молодой другь! Эйфелева башня, дъйствительно, выше боннской колокольни. Но я васъ спрашиваю, мой молодой другь: къ чему служить это огромное, безсмысленное сооруженіе, тогда какъ на нашей колокольнъ имъются даже часы? Да, если бы боннцы задумали строить у себя что-нибудь подобное Эйфелевой башнъ, я увъренъ, они бы построили нъчто дъйствительно заслуживающее вниманія по своей полезной цъли!

Кажется, пасторъ даже немного обидълся.

— Я съ удовольствіемъ показалъ бы вамъ внутренность нашей церкви, тоже замѣчательной по своей простотѣ: ничего, кромѣ дерева! Но, къ сожалѣнію, ключи у сторожа. А онъ вѣчно спить какъ сурокъ. Во всемъ мірѣ вы не найдете человѣка, который спаль бы столько, какъ онъ! Это положительно замѣчательно, и я думаю показать его докторамъ, которые, навѣрное, возьмуть его для демонстраціи на какой-нибудь ученый съѣздъ. Теперь мы пойдемъ осмотрѣть школу... Г. учитель! Г. учитель! — постучался пасторъ въ запертую дверь.

Отвъта не было.

- Очевидно, г. учитель ушелъ на рыбную ловлю. Но ничто не помъщаетъ намъ осмотръть зданіе снаружи. Мы обощли "зданіе" счетомъ въ десять секундъ.
- Внутри это—обширное помъщение, съ массой воздуха, свъта. Въ немъ одновременно учатся пятнадцать учениковъ! И я увъренъ, что подъ руководствомъ такого педагога, какъ г. Фридрихъ Шульцъ, изъ нихъ выйдутъ со временемъ достойнъйшие и замъчательные

граждане. О, это очень жаль, что г. учитель ушелъна рыбную ловлю! Вамъ доставило бы большое удовольствіе съ нимъ познакомиться! Это одинъ изъ ученъйшихъ людей: онъ окончилъ цюрихскую учительскую семинарію и могь бы, если бъ захотъль, быть даже бакалавромъ! Но г. Фридрихъ Шульцъ нечестолюбивъ. За нимъ нътъ этого недостатка. Это второй Песталоции!..

Мы шли по улицъ, гдъ на насъ лъниво тявкали издали, не трогаясь съ мъста, собаки, гръвшіяся на вечернемъ солнцъ.

- Какія алобныя животныя! проговориль г. пасторь. Теперь мы можемь итти домой. Достопримъчательности уже осмотръны. Какъ я вамъ говориль уже, у насъ издается мъстная газета "Боннскій Еженедъльный Телеграфъ", но итти въ редакцію было бы безполезно: сегодня, несмотря на воскресенье, газета не выходить. Г. редакторъ пошелъ на рыбную ловлю. Весь городъ сегодня отправился на рыбную ловлю! словно извинился за г. редактора г. пасторъ.
- Но это ничего, поспънилъ онъ успокоить меня, —газета выйдеть завтра! О, г. Вильгельмъ Будце одинъ изъ выдающихся редакторовъ въ міръ. Онъ самъ пишеть всю газету съ начала до конца, самъ ее набираеть, самъ печатаеть и самъ же развозить на велосипедъ подписчикамъ. Гдъ вы еще найдете такого дъятельнаго редактора? Конечно, его органъ не такъ распространенъ, какъ другія газеты міра, но все же расходы окупаются: онъ имъеть 20 подписчиковъ и около 500 номеровъ разсылаетъ въ разные музеи и библіотеки, конечно, gratis. Между нами говоря, я подозръваю, что онъ честолюбивъ. О, въ душъ этого

человъка таится страшное честолюбіе! Ужъ не хочеть ли онъ быть нашимъ городскимъ головою?

Пасторъ остановился около маленькаго домика, утопавшаго въ зелени.

— А вотъ домъ, гдъ родился и жилъ въ дътствъ одинъ изъ нашихъ величайшихъ людей. Человъкъ, который прославилъ имя Бонна. Да! Мы имъ гордимся. Это наша слава. Мы даже думаемъ прибить къ домику доску съ его именемъ и днемъ рожденія.

Я приготовился услышать какое-нибудь міровое имя.

— Его имя Фердинандъ Земмель. Не Прессель-Земмель, а просто Земмель. Вы услышите его имя, когда будете въ Бернъ. Онъ служить тамъ секретаремъ суда и скоро, говорять, будетъ произведенъ въ товарищи прокурора. Да, онъ родился въ Боннъ! Нъть, гдъ, кромъ Бонна, вы встрътите такіе контрасты?! — вдругъ воскликнулъ пасторъ, словно пораженный громомъ, останавливаясь среди улицы.— Мы только что говорили о нашемъ славнъйшемъ гражданинъ, — и вдругъ... Видите вы этого человъка?

И онъ указалъ на высокаго парня, съ лѣнивымъ и безпечнымъ видомъ шедшаго по улицѣ.

- Да, г. пасторъ.
- Это Генрихъ Фулеръ. Запомните это имя: "Генрихъ Фулеръ". Вы встрътите это имя еще въ судебныхъ лътописяхъ, въ какомъ-нибудь громкомъ процессъ о возмутительнъйшемъ изъ преступленій! Ничто не мъщаетъ этому человъку сдълаться злодъемъ. Это гроза и бичъ всего города!
- Однако, проходя мимо насъ, онъ поклонился очень привътливо и даже какъ будто робко и застънчиво.

- О, не върьте наружности этого человъка. Это величайшій притворщикъ въ міръ. Въ его душъ гнъздятся самые гнусные замыслы! Трудно даже сказать, что дълать государствамъ съ такими личностями. Онъ воръ. Да! Онъ гроза всъхъ нашихъ хозяевъ. Его прозвали "Хорькомъ", потому что онъ воруетъ яйца прямо изъ-подъ куръ. Онъ не можетъ видътъ чужой курицы безъ того, чтобъ ее не украсть. А однажды даже пытался угнать у одного изъ гражданъ осленка. Извините, мой другъ, что вы по моей милости видъли одного изъ величайшихъ негодяевъ въ міръ!
- Ничего, г. пасторъ.
- И помните всегда: "Генрихъ Фулеръ, по прозванію "Хорекъ", чтобъ знать, что нужно дълать, если судьба васъ съ нимъ гдъ-нибудь столкнетъ.

Мы возвратились домой, гдъ г-жа пасторша ждала насъ съ небольшой вечерней закуской.

- Ты знаешь, жена, кого мы сейчась встрътили съ г. путешественникомъ?
 - Hy?
 - Генриха Фулера!!!

Добрая женщина даже поблъднъла.

— 0, г. путешественникъ, я начинаю бояться за васъ.

Я поспъшилъ, насколько могъ, успокоить бъдную пасторшу, сказавъ, что у меня въ дорогъ всегда есть съ собой два большихъ револьвера.

Смерклось.

— Мы ложимся рано,—сказаль г. пасторь,—но если вы не имъете этой превосходнъйшей привычки, тогда моя библіотека къ вашимъ услугамъ. Она, конечно, не такъ велика, какъ другія книгохранилища, но зато недурно подобрана. Въ ней вы найдете много ръдкихъ и цънныхъ книгъ, съ которыми стоитъ познакомиться: Плутарха — "Жизнеописаніе замъчательныхъ людей", Смайльса—"Самодъятельность", Бокля—"Исторія цивилизаціи Англіи", не говоря уже о "Философіи чистаго разума" Канта, которая у меня имъется и которой я горжусь!

Я поблагодариль и отказался отъ чтенія этихъ ръдкихъ книгъ.

— Вы устали. Въ такомъ случа намъ остается только пожелать спокойной ночи другъ другу и разойтись. Въ вашей комнат наверху вы найдете свъжую постель. Васъ проводитъ туда наша служанка Роза, одна изъ скромнъйшихъ дъвушекъ!

Послъднее г. пасторъ прибавилъ, въроятно, такъ, скоръе изъ чувства "мъстнаго патріотизма", чъмъ для предупрежденія.

Хорошенькая Роза, пухленькая какъ только что испеченная булка, провела меня наверхъ, еще разъ убъдилась, все ли у меня есть, что нужно, пожелала спокойной ночи и хотъла уйти.

Я тихо взялъ ее за талью и привлекъ къ себъ. Розочка вся вспыхнула.

- О, сударь, вы, какъ я вижу, величайшій изъ ловеласовъ на свътъ! прошептала она, стараясь ускользнуть изъ моихъ рукъ.
- А ты величайшая изъ скромницъ, добродътельнъйшее изъ существъ. Знаю, знаю все, что ты скажешь. И върю! Но неужели нельзя одинъ разъ поцъловать?

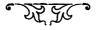
И я опустилъ ей въ руку луидоръ.

- О, сударь, миъ кажется, что вы не кто иной, какъ самъ дьяволъ,—тихо сказала Розочка, подставляя щеку для поцълуя, и убъжала.
- Всѣ и прежде всѣхъ, конечно, единственный городской извозчикъ, за которымъ для меня послали были несказанно удивлены, когда я на слѣдующее утро заявилъ, что ѣду съ первымъ же поѣздомъ.
 - Г. пасторъ былъ прямо ощеломленъ:
- Какъ? Вы хотите уъхать, даже не побывавъ въ боннской школъ? Не познакомившись съ нашимъ учителемъ? Вамъ не нравится Боннъ?!
- Нѣтъ, нѣтъ, дорогой г. пасторъ. Но то, что я здѣсь увидѣлъ! Столько впечатлѣній, полученныхъ вчера! Вы разсказывали столько удивительныхъ вещей И этотъ сторожъ, который непостижимо спитъ цѣлый день, и эти собаки, преисполненныя непримиримой злобы къ человѣческому роду, и этотъ негодяй, который еще никого не убилъ, но, навѣрное, убъетъ... Нѣтъ, г. пасторъ, не удерживайте меня. Я долженъ остаться одинъ, одинъ, чтобъ разобраться во всѣхъ этихъ впечатлѣніяхъ, въ мысляхъ, которыя родятъ эти впечатлѣнія. Я и такъ не могъ заснуть всю ночь!
- О, да! Мы съ женой слышали въ вашей комнатъ какъ будто вздохи.
 - Вотъ, вотъ!
- Но я надъюсь, что если вы потомъ когда-нибудь будете писать о народахъ, странахъ, которыя вы посътили, вы не забудете на нъсколькихъ страницахъ упомянуть и о Боннъ?

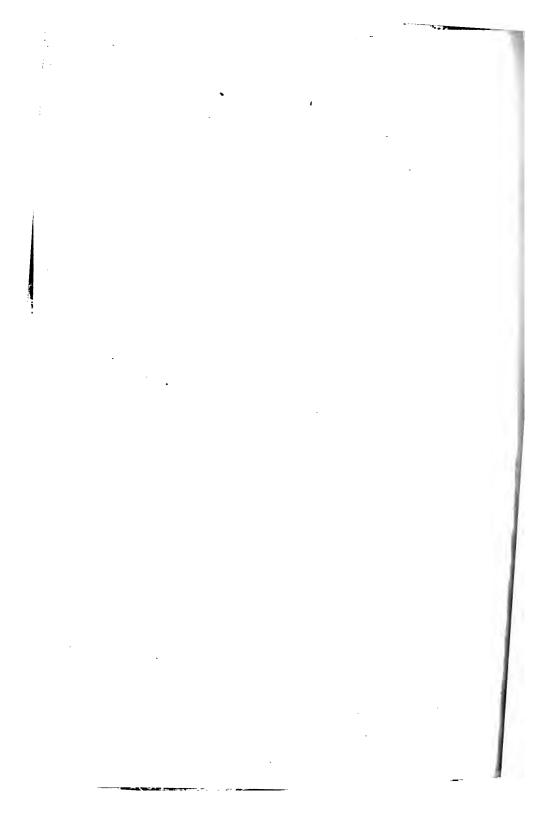
— О, я опишу его, г. пасторъ, въ двънадцати томахъ самаго большого формата! Поъзжайте, мы опоздаемъ на поъздъ!

Пасторъ стоялъ на крыльцѣ безъ шляпы и, улыбаясь, смотрѣлъ мнѣ вслѣдъ; добрая пасторша кивала мнѣ головой, а хорошенькая Роза, стоя сзади нихъ, махала платкомъ.

Самымъ краснымъ въ мірѣ платкомъ.



Какъ я былъ туркомъ.



Қакъ я былъ туркомъ.

Эта мысль пришла мнъ въ голову какъ-то за границей, въ одномъ изъ курортовъ.

— Буду туркомъ!

Дълается это очень легко.

Вы покупаете себъ феску, и какъ только ее надъли, —весь міръ вокругъ измъняется къ лучшему.

Все становится необыкновенно деликатнымъ, любезнымъ, внимательнымъ.

— Турокъ!

На улицъ, въ театръ, на желъзной дорогъ вы — предметъ общаго вниманія.

— Смотрите! Смотрите! Турокъ!

Мальчики поутру, идя въ школу, останавливаются передъ вашими окнами, стоятъ и пропускаютъ уроки.

— Здёсь живеть турокъ!

Все это чрезвычайно пріятно.

Вы знаете, что десятки людей ежедневно, придя домой, говорять:

- A вы знаете! Я сегодня встрътилъ (или встрътила) турка!
 - Да неужели?!

Согласитесь, что это очень лестно.

Надо написать "Воскресеніе", вылѣпить Лаокоона или нарисовать Сикстинскую Мадонну для того, чтобы возбудить къ себъ такое же всеобщее вниманіе, какое вы возбуждаете, всего на все надъвши феску.

И я рекомендую всякому и каждому, пріфажая за границу, над'ввать феску.

Какова бы ни была ваша наружность,—въ ней находять "черты храбрыхъ османлисовъ".

Когда вы молчите, въ вашихъ глазахъ видятъ "много восточной лъни и нъги".

Когда заговорите, всъ толкають другь друга подъ столомъ:

— Смотрите! Смотрите, какъ горять его глаза! Ваша жизнь—тріумфальное шествіе.

Если вы во время та прибъгаете къ помощи ножа и вилки, это вызываетъ всеобщій восторгъ:

— Какъ онъ воспитанъ!

Если вы въ разговоръ случайно упомянете, что Лондонъ лежить на ръкъ Темзъ или Парижъ на ръкъ Сенъ, — всъ обмъниваются взглядами, изумленными и восхищенными:

— Скажите! Какой образованный!

Если вамъ удается болъе или менъе связно сказать двъ-три фразы, всъ находять, что вы прямо красноръчивы.

А если вы поднимете платокъ уронившей его дамы,— Боже, какой неописанный восторгъ вы вызовете.

— Вотъ вамъ и турки! А?!

Объ этомъ будуть говорить три дня.

Наконецъ, если это все вамъ надоъстъ, вы можете взять руками кусокъ ростбифа, вытереть руки о фалды своего сосъда или погладить даму по декольте.

И всъ сдълають видъ, что ничего не замътили:

— Въдь онъ турокъ!

Вообще можно доставить себъ массу удовольствій. Совершенно безнаказанно массу такихъ удовольствій, за которыя всякаго европейца выгонять въ шею, изобьють или убьють на дуэли.

Раньше такъ же выгодно и пріятно было быть русскимъ.

Когда вы садились за столъ, сосъди спъшили отодвинуть отъ васъ "судокъ", боясь, что вы сейчасъ выпьете уксусъ и начнете себъ мазать прованскимъ масломъ сапоги, чтобы блестъли.

Къ концу объда всъ блъднъли:

— Вотъ сейчасъ вынетъ изъ бокового кармана сальную свъчку, съъстъ, а руки оботретъ объ голову сосъдки!

Но теперь — увы! — эти счастливыя времена миновали.

Русскихъ столько шляется повсюду, что на нихъ не обращають никакого вниманія.

Развъ какой-нибудь особенно любезный иностранецъ, желая васъ занять разговоромъ, спроситъ:

— A правда, что у васъ въ газетахъ разръшають писать только о погодъ?

Да и то ръдко.

Итакъ, однажды я ръшилъ превратиться въ турка. Подъъзжая къ курорту, я въ вагонъ, въ купэ, надълъ феску, и едва вышелъ на платформу, ко мнъ бросились всъ комиссіонеры всъхъ лучшихъ пансіоновъ.

Еще **бы!** Каждому пансіону лестно им'ть у себя турка!

Я выбралъ самый лучшій изъ наилучшихъ, и комиссіонеръ, которому всъ завидовали, шепнулъ мнъ:

— Хозяинъ съ удовольствіемъ сдѣлаеть вамъ даже скидку!

Я думаю!

Въ книгъ для пріважающихъ я сдълаль нъсколько каракуль и поставиль въ скобкахъ:

— Османъ-Дигма-Бей.

А черезъ двъ минуты ко мнъ явился сіяющій хозяинъ:

— Я въ первый разъ еще имъю честь принимать у себя турка! У меня бывали англичане, французы, нъмцы, испанцы, русскіе, даже греки и венгерцы. Но турокъ, — турокъ это еще въ первый разъ. Я очень, очень радъ!

Затъмъ я слышалъ, какъ онъ по очереди обходилъ всъ двери, стучалъ, входилъ на минутку, говорилъ что-то и бъжалъ стучать въ слъдующую дверь.

Изъ-за дверей при этомъ слышались изумленныя восклицанія мужскія и женскія:

— Да неужели?!

Это онъ сообщалъ:

— Къ намъ прівхалъ турокъ!

Къ табль-д'оту явился весь пансіонъ. Мужчины во фракахъ. Дамы декольте.

Объдъ съ туркомъ! Это былъ объдъ—gala. Въдь не всякому случается въ его жизни объдать за однимъ столомъ съ туркомъ.

Во вниманіе къ монмъ восточнымъ нравамъ меня посадили между двумя дамами.

И я видълъ, какъ у нихъ даже плечи покраснъли отъ гордости:

— Значить, мы ничего себъ, если насъ выбрали для турка! Остальныя дамы смотрели на нихъ съ завистью.

А когда я имълъ случай одной сосъдкъ передать соль, а другой — горчицу, — онъ были въ полномъ и неописанномъ восторгъ.

Всъ съ удовольствіемъ переглянулись:

- Каковъ?!
- Давно вы изъ Константинополя?—спросила меня хозяйка.
 - Два мъсяца!-отвъчалъ я.
- Я не имъла случая посътить Константинополь Но я бы очень хотъла быть. Говорять, это такой красивый городъ.
- Да, Константинополь удивительно красивъ! отвътилъ я, но спохватился и, скромно опустивъ глаза, добавилъ:
 - По крайней мъръ, такъ говорять!

Туть всё принялись наперерывь расхваливать Константинополь.

Оказалось, что никто еще "не имълъ случая посътить этотъ городъ". Но что всъ "ужасно хотятъ". И что всъ много о немъ читали.

- Эти мечети и минареты, прямые, какъ стръла, которые уносятся въ безоблачное небо!
 - -- А Босфоръ!
 - Особенно въ лунную ночь!

Я почувствоваль удовольствіе, что родился въ такомъ красивомъ городъ.

- Турки ужасно храбрый народъ! воскликнулъ кто-то, и всв подхватили:
- О, да! О, да! Храбрый и мужественный народъ! И туть, воть туть-то въ первый разъ, я и по-чувствоваль въ душъ своей гордость.

Что жъ удивительнаго! Пріятно, когда тебя принимають за представителя порядочнаго народа.

Я покраснълъ, и покраснълъ при этомъ искренно. И опустилъ глаза.

- Право, миъ трудно высказывать свое миъніе... Хозяйка, чтобъ перемънить разговоръ, щекотавшій мою скромность, поспъшила задать миъ пріятный для меня вопросъ:
 - Какъ адоровье его величества султана? Что долженъ дълать турокъ въ такомъ случаъ? Я поблагодарилъ ее ваглядомъ и отвътилъ:
- Здоровье его мудрости, его свътлости, покровителя правовърныхъ, нашего великаго повелителя находится въ самомъ вожделънномъ благополучіи и не оставляетъ намъ, простымъ смертнымъ, ожидать ничего лучшаго!

Всъ были тронуты этимъ восточнымъ отвътомъ, а хозяйка поспъшила умиленно замътить:

- Вы всъ, въроятно, такъ любите вашего султана?
- А развъ можно его не любить, когда онъ тънь Аллаха на землъ?! просто отвътилъ я, какъ будто удивляясь.

И знаете что? Это странно! Но ей Богу я въ эту минуту чувствоваль, что, дъйствительно, люблю султана, и что его нельзя не любить!

О ложь! Она начинается съ того, что мы обманываемъ ею другихъ, а кончается тъмъ, что мы сами начинаемъ въ нее върить!

Такъ актеръ, въроятно, входить въ роль и начинаетъ искренно ненавидъть короля Клавдія и любить Офелію, дъиствительно, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не могуть!

Всъ съ умиленіемъ переглянулись при моемъ отвътъ:

— Какая непосредственность!

И только у одной очень молоденькой и очень хорошенькой дамы вырвалось нечаянно:

- Vieux crapule!

Собственно говоря, я бы не обратиль на это никакого вниманія. Какое миѣ дѣло до того, что ругають человѣка, съ которымъ я не знакомъ даже шапочно?

Но я замътилъ, что всъ поблъднъли. Всъ взглянули съ ужасомъ на молодую даму и потомъ уставили на меня глаза, полные мольбы.

Словно уговаривали:

— Не убивай ея!

Я почувствоваль, что должень что-то дёлать.

— Но что, чортъ возьми?

Хорошо бы поблѣднѣть. "Турокъ поблѣднѣлъ, какъ полотно". Это хорошо! Но какъ это дѣлается?

На всякій случай я плотно сжаль губы и началь дышать носомь, дълая видь, что мнѣ вообще чрезвычайно трудно дышать. Кровь приливала мнѣ къ вискамъ, и я чувствовалъ, что "все лицо турка наливается кровью". Отлично! Отлично!

Затъмъ я вспомнилъ, что необходимо сверкнуть глазами. Сверкнулъ разъ, два, даже три. Остановилъ взглядъ сначала на ножъ, потомъ на вилкъ, потомъ неревелъ его даже для чего-то на стеклянную вазу съ фруктами.

Всв дрожали.

Нъсколько минутъ ничего не было слышно, кромъ моего сопънья.

Тогда я ръшилъ:

Т. VII. Разсказы.

— Довольно! "Турокъ сдълалъ нечеловъческое усиліе и задушиль охватившее его бъщенство".

Я улыбнулся "слабой улыбкой", словно меня ранили въ сердце, обвелъ всъхъ такимъ взглядомъ, словно хотълъ сказать:

— Не безпокойтесь. Ничего. Я не убью.

Всѣ посмотрѣли на меня взглядами, полными признательности, и обѣдъ закончился среди всеобщихъ прославленій турецкаго султана.

Бъдняжка, у которой сорвалось съ языка неосторожное слово, сидъла, опустивъ голову, то краснъя, то блъднъя, ничего не ъла и не смъла поднять своихъ наполненныхъ слезами прекрасныхъ глазъ. Жалко!

Когда кончился объдъ, и мы, мужчины, пошли курить,—я видълъ, какъ всъ дамы накинулись на нее. Должно-быть, ей хорошо досталось!

— Простите, у насъ нътъ кальяна! — страшно волновался хозяинъ.

Но я поспъшилъ его успокоить "жестомъ, полнымъ мягкости и благоволенія".

— О, ради Аллаха, не безпокойтесь! Я охотно курю и сигары!

И окончательно привлекъ къ себъ всъ сердца.

- Вотъ никогда не думалъ, чтобъ турки были такъ милы и общительны!
- Прямо препріятный народъ въ общежитін! услышаль я мелькомъ замъчаніе.

Покуривъ, я отправился погулять въ садъ, и никто не осмълился сопровождать меня, зная наклонность восточныхъ людей къ уединенію и размышленіямъ.

Я шелъ, дъйствительно, задумавшись, хоть я и не восточный человъкъ, — какъ вдругъ въ отдаленной и

узенькой аллейкъ я столкнулся лицомъ къ лицу съ молоденькой дамочкой, обругавшей турецкаго султана.

При видъ меня она вскрикнула и отшатнулась.

Я улыбнулся и протянуль ей руку:

— Не бойтесь!

Она схватила мою руку. Ея руки были холодны и дрожали.

Она была блъдна, какъ полотно, и смотръла на меня большими-большими глазами, въ которыхъ была боль и пытка.

Мнъ стало жаль ее.

Я нагнулся, чтобъ поцеловать ея руки.

Но она отдернула ихъ въ испугъ, почти съ ужасомъ, крикнувъ:

— Нътъ! Нътъ! Не надо!.. Это я... я должна...

Крупныя-крупныя слезы потекли у нея по щекамъ, и она заговорила голосомъ взволнованнымъ, прерывистымъ:

— Простите меня... Простите... Я нарочно пришла сюда, чтобъ попросить у васъ прощенія... Я ждала васъ... Я знала, что вы придете... Зная привычку восточныхъ людей къ уединенію и задумчивости... Простите меня... Я вамъ сдълала больно... Да? Очень больно?..

Женщины всегда, когда сдълають больно, освъдомляются потомъ: "Да? Правда? Очень больно? Очень?.."

Нало было пококетничать.

Я прижаль руку къ сердцу, какъ будто и сейчасъ еще чувствовалъ боль отъ нанесенной раны.

— Конечно, сударыня, мнѣ было очень тяжело, очень мучительно, когда при мнѣ моего всемилостиваго падишаха назвали вдругь...

Она задрожала вся и схватилась за голову.

— Не надо! Не надо! Я чувствовала, какъ вамъ это тяжело! Какую рану я нанесла вашему сердцу!.. Я видъла, какія усилія, какія нечеловъческія, героическія усилія употребили вы, чтобъ подавить въ себъ жажду мщенья, жажду крови...

Она смотръла на меня восторженно.

— Я видъла, какъ вы страдали, я видъла эту борьбу!.. И я... я васъ полюб... Боже! Боже! Что я говорю! Зачъмъ вамъ знать это?!

И прежде, чъмъ я успълъ опомниться, она схватила мою руку, поцъловала и кинулась въ кусты.

Вотъ такъ чортъ!

Вечеромъ, придя въ свою комнату, я увидълъ сквозь тюлевую занавъсочку на улицъ, противъ моего окна, порядочную толпу лакеевъ и слугъ пансіона.

А въ коридоръ, я слышалъ, тихонько открывались двери сосъдей, и люди на цыпочкахъ крались къ дверямъ моего номера.

Отъ меня ждали вечерняго "намаза".

Люди Запада только себъ дозволяють "свободное мышленье", а отъ насъ, восточныхъ народовъ, требують "дътскихъ чувствъ".

Чтобъ доставить удовольствіе лакеямъ и сосъдямъ, я сълъ, поджавъ подъ себя ноги, вытянулъ вверхъ руки и потихоньку запълъ:

— Ля илляга иль Аллахъ, Магометь рассуль Аллахъ, даккель, саккель, Магометь!

Все, что я знаю изъ Корана.

Въроятно, возбуждаемый слушателями и арителями, я пълъ даже съ увлечениемъ.

А когда я запълъ:

— Даккель, саккель, Магометь!

Я самъ чувствоваль, въ моемъ голосъ слышался непримиримый фанатизмъ.

Затъмъ я погасилъ лампочку, легъ спать и, послъ всъхъ сдъланныхъ за день глупостей, заснулъ, какъ убитый.

На утро — странное дъло! — первою моею мыслью была мысль о Магометъ и о турецкомъ султанъ.

Я отлично помню, что подумалъ именно:

— Что-то теперь дълаеть нашь султанъ?

Положительно, меня гипнотизировали окружающіе. Внушали миъ ежечасно, ежеминутно, что я турокъ.

Меня разспрашивали о Турціи, и я безпрестанно долженъ быль врать, расхваливая турецкія учрежденія.

Врать изъ самолюбія.

Очень пріятно быть человѣкомъ такой страны, учрежденія которой возбуждають только смѣхъ!

Очень пріятно, чтобъ на тебя смотрѣли съ сожалѣніемъ.

И я расхваливаль все: турецкихъ министровъ, турецкую таможню, турецкую цензуру.

— Увъряю васъ, что все это совершенно не такъ! Наша турецкая цензура чрезвычайно либеральна!

Мало-по-малу, я началь даже хвастаться Турціей. И безпрестанно зам'вчать:

- А у насъ, въ Турціи, это дълается такъ-то! Меня стали считать ужаснымъ патріотомъ и, когда находили въ газетахъ что-нибудь пріятное про Турцію, спъшили преподнести мнъ:
- A сегодня напечатано, что Меджидъ-паша представлялся султану!

Или:

— А у васъ вырыли новый колодецъ!

Когда же въ газетахъ было что-нибудь непріятное, отъ меня прятали номеръ.

Тогда я выходилъ изъ себя и посылалъ мнъ купить эту газету, читалъ и хмурилъ брови, и ходилъ цълый день мрачный и нахмуренный.

Я привыкъ читать въ газетахъ только о Турціи, я искренно спрашивалъ себя, раскрывая газету:

— Ну-ка, что о насъ пишутъ?

Однажды я разсвиръпълъ такъ, что даже чутъчуть не послалъ ругательнаго письма одному редактору, который требовалъ въ своей газетъ немедленнаго раздъла Турціи.

— Насъ? Раздълить?

Такъ шло до свиныхъ котлетъ.

Однажды за объдомъ подали великолъпныя свиныя котлеты съ картофельнымъ пюре. Я протянулъ руку,— но хозяйка, покраснъвшая, сконфуженная, воскликнула:

- Это... это.. это изъ очень нехорошаго животнаго... Но я улыбнулся:
- Сударыня, я не такой ужъ старовъръ.

И чтобъ доказать свое свободомысліе, положилъ себъ двъ свиныя котлетки, а потомъ попросилъ и третью.

Это было оцънено.

Общество взглянуло на меня съ величайшимъ сочувствіемъ:

— Онъ младотурокъ!

Въ тотъ же вечеръ на террасъ поднялся вопросъ о религи.

- Какъ человъкъ просвъщенный, согласитесь, однако, что Магометъ... конечно, онъ былъ великій пророкъ... но врядъ ли онъ былъ особенно нравственный человъкъ.
- Ахъ, это многоженство! вавиагнула одна изъ дамъ.

Я чувствовалъ себя немножко виноватымъ передъ Магометомъ за котлеты и ръшился защищать его изо всъхъ силъ.

— Ничуть!--воскликнуль я съ горячностью, которой отъ себя даже не ожидалъ. — Ничуть! Вся разница Магомета отъ другихъ великихъ реформаторовъ заключается въ томъ, что другіе реформаторы писали законы для ангеловъ, а Магометъ для людей. Они хотъли создать ангеловъ на землъ. Магометъ хотълъ создать только порядочныхъ людей. Они отвергали человъческую природу. Магометъ давалъ ей приличный видъ. Единоженство, должно-быть, не въ человъческой природъ. Всякій мужчина многоженецъ. Кто зналъ въ жизни только одну женщину? Очевидно, мы не можемъ довольствоваться одной женщиной, какъ не можемъ довольствоваться однимъ какимъ-нибудь блюдомъ. Природа, разнообразная всегда и во всемъ, и туть требуеть своего любимаго — разнообразія. Магометь только благословиль то, что раньше него было узаконено самой природой. Онъ сказалъ: "Тебъ нужно много женщинъ, бери столько, сколько тебъ нужно, только не дълай гадостей". Мы, турки, знаемъ, мы даже очень знаемъ, что такое семья, -- но мы не знаемъ, что такое разврать. Что дълаеть европеець, когда ему нравится посторонняя женщина? Онъ разрушаетъ изъ-за этого свою семью. Это величайшее несчастіе для его семьи! А у насъ, когда магометанину нравится посторонняя женщина, онъ женится на ней, онъ увеличиваеть только, усиливаеть, умножаеть свою семью. Это превосходно для его семьи! У васъ изъ-за того, что мужчинъ нравится женщина, разрушается семья, у насъ она растеть и укръпляется.

И среди споровъ, которые вызвала эта тирада, молоденькая женщина, обругавшая за первымъ объдомъ султана, шепнула мнъ съ горящими глазами, проходя мимо меня въ темный садъ:

— Я люблю... Магомета!...

Чорть побери, должно-быть, это не ускользнуло отъ вниманія молодого поручика, который ужъ и такъ давно смотрълъ на меня звъремъ.

Среди шума голосовъ раздался его дребезжавшій, звонкій тенорокъ:

— Однако, эта религія многоженства кончаеть тъмъ, что превращаеть всъхъ людей въ женщинъ.

Всъ взглянули на него съ недоумъніемъ. Раздалось:

— Tccc...

Но поручикъ закусилъ удила:

— Говорять, что турки мужественны. Быть-можеть! Однако, это не мъшаеть, чтобъ ихъ били въ каждойвойнъ. И въ очень непродолжительномъ времени эта мужественная нація будеть окончательно изгнана изъ Европы.

Я поблъднълъ. На этотъ разъ я, дъйствительно, чувствовалъ, что поблъднълъ.

- Вы такъ думаете?
- Такъ думаетъ исторія! отвѣчалъ поручикъ, пощипывая усики, которые только еще пробивались.

Всъ съ ужасомъ глядъли на меня. Что я сдълаю? Разорву его на мъстъ? Перебью всъхъ? Начну ругаться?

Но я ръшилъ поддержать — чортъ возьми! — достоинство турокъ.

— Поручикъ, мы кончимъ нашъ споръ завтра утромъ!—сказалъ я, учтиво, но холодно кланяясь, и вышелъ въ темный садъ.

На утро мы дрались.

Будь я проклять, если мнъ хотълось драться!

Я бы съ удовольствіемъ бросилъ пистолеть и крикнуль:

— Довольно этой комедіи!

Но меня останавливала мысль:

— Что скажуть о туркахъ!

Такъ я привыкъ уже дорожить честью Турціи.

И я подставляль свою грудь за честь "отечества".

Въ ту минуту, когда поручикъ поднималъ пистолеть, я думалъ:

"Покажемъ, какъ умираютъ османлисы!" Оба промахнулись.

А мнъ, кромъ того, пришлось еще и удирать изъкурорта.

Обо мить съ почтеніемъ и восторгомъ говорилъ весь городъ:

— Какой патріоть! Жизнь готовъ положить за родину!

Дъло проникло въ газеты, могъ явиться съ визитомъ турецкій консулъ...

Я съ удовольствіемъ, словомъ, сълъ въ купе, заваленное букетами цвътовъ, и съ наслажденіемъ, когда тронулся поъздъ, выкинулъ въ окно малиновую феску.

Но какая странность...

Вы знаете, я долго еще не могъ отвыкнуть! Беря газету, я прежде всего искаль:

— Что пишуть о Турціи?

Часто ловилъ себя на мысли:

-- Мы, турки...

Одинъ разъ страшно удивилъ жену, машинально сдълавъ намазъ передъ тъмъ, какъ лечь въ постель.

И еще на-дняхъ ужасно обидълся, когда при мнъ обругали Турцію.

Такъ медленно выдыхается изъ меня турецкій патріотизмъ.

Я медленно, съ трудомъ освобождаюсь отъ лжи, въ которой однажды увърилъ себя. Словно выздоравливаю отъ тяжкой болъзни. Словно просыпаюсь отъ гипноза.

Что же такое патріотизмъ, если можно сдѣлаться даже турецкимъ патріотомъ?! Нѣчто такое, о происхожденіи чего мы просто никогда не подумали.



Святочный разсказъ.

May Roce

Святочный разсказъ.

Я надъль фракъ и съль въ шкапъ.

Конечно, это глупо, но объясняется тъмъ, что у насъ въ домъ идетъ уборка.

А теперь нужно писать святочный разсказъ.

Извините, что святочный разсказъ будеть на этотъ разъ безъ чертей.

Но всв черти разобраны.

Потапенко, Назарьева, другіе Потапенки, другіе Назарьевы—всемъ нужно по чорту для святочнаго разсказа.

Вы сосчитайте только.

Одинъ г. Потапенко пишетъ, по меньшей мъръ, восемнадцать святочныхъ разсказовъ; восемнадцать разсказовъ—восемнадцать чертей.

Гдъ же туть чертей наберешься!

Такъ что разсказъ будеть безъ чорта.

Впрочемъ, я ужъ упомянулъ, кажется, о женъ моей. Довольно и этого.

Итакъ,

ОТРАВЛЕННЫЙ ПРАЗДНИКЪ.

(святочный разсказъ).

Наступала уясная, свътлая рождественская ночь.

На небъ высыпали безчисленныя звъзды, и изъ-за легкихъ какъ кисея облаковъ всплывала луна. Не забыть, чортъ возьми, кисеи купить для своячиницы.

Вотъ еще сокровище!

Готовится на костюмированный балъ.

Собственно говоря, какая это ерунда, будто мы женимся на одной женъ.

Нътъ-съ, милостивый государь, вы женитесь сразу на женъ, на тещъ, на двухъ своячиницахъ, на четырехъ ихъ двоюродныхъ сестрицахъ.

У васъ дома заведется цѣлый гаремъ, чортъ его побери.

Своячиница сидить у вась на письменномъ столѣ и болтаеть ногами, теща роется въ вашихъ бумагахъ, ища любовныхъ записокъ, кузины заставляютъ слушать ихъ пъніе!

Всв имъютъ на васъ право!

И вы обязаны всёмъ имъ дарить подарки, обновы, чорта въ ступъ!

Однако, луна ужъ выплыла!

Морозъ кръпчалъ и кръпчалъ.

Городъ затихъ послѣ обычной предпраздничной суеты.

Я, собственно говоря, нахожу, что ничего глупъе этой суеты нельзя придумать.

Люди цълый годъ живутъ свиньями и къ празднику вдругъ начинаютъ убираться!

Убираться!

Старые женины башмаки, которые, чортъ ихъ знаетъ зачъмъ, цълый годъ валялись на чемоданъ, прячутъ въ вашъ письменный столъ.

Это у нихъ называется "убираться"!

А мужъ садись въ шкапъ, да еще во фракъ.

Во фракъ потому, что со всъхъ остальныхъ костюмовъ выводятъ пятна.

Цълый годъ человъкъ ходить весь въ пятнахъ, и ни одна собака не обращаетъ на это никакого вниманія, а подходить праздникъ—надъвай фракъ и маршъ въ шкапъ.

Костюмы будуть чистить!

Надо вамъ сказать, что и въ шкапъ я попалъ не сразу.

Сначала меня послали писать на подоконникъ: въ кабинетъ уборка.

Горничная Акулина со свойственной ей легкостью вспрыгнула на подоконникъ, —ей нужно снимать гардины, — и какъ разъ наступила голой ногой мнѣ на бумагу.

Надо вамъ сказать, что, когда я пишу, я увлекаюсь, — и не обращаю на пустяки никакого вниманія.

Я какъ разъ писалъ самое драматическое мъсто разсказа, и самое горячее мъсто сгоряча написалъ на ногъ Акулины.

- Ай, щекотно!

Эта дура вавизгнула, брыкнула ногой и прямо попала мнъ пяткой въ подбородокъ.

Это бы еще ничего, но она упустила изъ рукъ деревянный карнизъ, и онъ изо всей силы треснулся о мое темя.

Кто ее зналъ, что она такъ боится щекотки.

А жена вывела изъ этого заключеніе, будто я щекочу пятку у горничной, сдълала что-то тамъ башмакомъ у меня на головъ и прогнала меня въкухню.

Къ этому нужно еще прибавить, что горничная, когда карнизъ упалъ, вскрикнула и присъла мнъ на голову.

Тоже нервы!

Впрочемъ, на это не стоить обращать вниманія, потому что она скоро слъзла.

Въ общемъ меня прогнали въ кухню.

Въ кухнъ, собственно говоря, писать недурно, но оказывается, что у кухарки Мавры есть кумъ, пожарный.

Засталъ меня въ кухнъ-и сейчасъ сцену ревности.

- Ты что жъ это, говорить, писарь, къ чужимъ кухаркамъ ходишь?
- Во-первыхъ,—говорю,—я не писарь, а писатель. А во-вторыхъ, кухарка моя!
- Я, говорить, тебъ покажу, чья это кухарка: твоя или моя!

И показалъ!

Потомъ извинялся:

— Могъ ли, — говорить, — я, баринъ, думать, что благородный баринъ на собственную куфню писать пойдеть? Я,—говорить, — думадъ, что вы изъ писарей и къ кухаркъ пришли за амурами!

Этакій дуракъ!

Далъ ему Богъ силу, а разсужденія ни на грошъ. Ушелъ оть дурака въ шкапъ— здѣсь меня никто не тронеть.

Да, такъ на чемъ я остановился?

Городъ затихъ. На улицахъ не видно было даже извозчиковъ.

Иванъ Петровичъ, закутавшись въ шубу и поднявъ воротникъ, быстро шагалъ домой.

Онъ думалъ о дътяхъ, о женъ...

О томъ, какъ весело потрескиваетъ каминъ, какъ дъти стоятъ около запертой двери залы, стараясь хоть въ замочную скважину разсмотръть, что тамъ дълается.

Какъ онъ отворить эту дверь, какъ крикъ радости, изумленія, восторга вырвется у дѣтей при видѣ этой горящей огнями елки. Онъ видѣлъ веселыя лица дѣтей, счастливое лицо жены...

Морогъ все кръпчалъ и кръпчалъ, а на душъ становилось все теплъе и теплъе.

Иванъ Петровичъ былъ даже доволенъ, что нътъ ни одного извозчика, что ему приходится итти пъшкомъ.

Такъ пріятно было пережить еще разъ въ воображеніи тѣ впечатлѣнія, которыя онъ переживеть черезъ какую-нибудь четверть часа.

Взять больше радости отъ этого славнаго праздника! Ему было пріятно, что на улицѣ нѣтъ прохожихъ, что никто и ничто не мѣшаетъ ему думать, улыбаться отъ тихой радости, которая наполняла его душу.

Онъ весь погрузился въ свои веселыя, отрадныя мысли и не замътилъ, какъ сзади раздались мелкіе, торопливые шаги.

Какъ вдругъ кто-то его толкнулъ подъ руку, и женскій голосъ проговорилъ:

— Хорошенькій, куда вы такъ торопитесь!

Она старалась говорить весело, но слышно было, какъ раза два отъ холода стукнули ея зубы.

Кто разговариваеть съ уличными женщинами? Иванъ Петровичъ только ускорилъ шаги. Но она не отставала. Онъ вабъсился, ръзко повернулся къ ней, чтобы крикнуть:

— Пошла прочь!

Они были какъ разъ около фонаря. Его свътъ падалъ на перемервшее, словно закоченъвшее лицо женщины, въ легкой кофточкъ, дрожавшей передъ Иваномъ Петровичемъ.

Онъ только что хотълъ крикнуть: "пошла прочь!" какъ вдругъ взглянулъ, вздрогнулъ и остановился.

Чортъ возьми, только что получилъ непріятное извъстіе.

И главное, на самомъ интересномъ мъстъ разсказа. Изжарили младенца.

Я всегда говорилъ, что эта уборка до добра не доведетъ!

Въ дътской, оказывается, нужно было прибирать, и младенца положили въ кухню на плиту.

Больше мъста не было!

Дура Мавра, которая, благодаря этой проклятой уборкъ, потеряла голову, не замътила ребенка, затопила плиту и ушла.

Ну, младенецъ, конечно, и изжарился!

Вотъ вамъ и имъй послъ этого дътей!

Съ этими уборками, сколько ни имъй дътей, всъхъ перепарятъ.

Бъдный Ваня! Изжарить такого умнаго мальчика! Вернемся, однако, къ разсказу.

На чемъ я остановился?

Да, на томъ, что Василій Николаевичъ, — кажется, такъ зовутъ героя, а впрочемъ, чортъ его возьми, какъ его зовутъ.

Василій Николаевичь остановился и вадрогнуль

Дрожавшая женщина, видимо, тоже хотъла сказать что-то, но, взглянувъ въ лицо Василія Николаевича, слегка вскрикнула и остановилась.

Можно было подумать, что передъ ними выросло по привидънію.

- Ты?..
- Вася?.. Василій Николаевичъ...
- Откуда ты ваялась?.. На улицъ... подъ такой праздникъ...

Она задрожала еще сильнъе, на этотъ разъ не отъ холода, слезинки заблистали на ръсницахъ.

— Что же дълать?!

Василій Николаевичъ чувствовалъ, что у него кругомъ идетъ голова.

- Да какъ же это... какъ же...
- Надо же гдъ-нибудь ночевать...
- Какъ, ты...
- Выгнали съ квартиры... Не плачу... Некрасива стала... добывать трудно.
 - Маша, Маша, да какъ же это?..

Она зарыдала.

- А что же вы думали, что замужъ, что ли, кто возьметь дъвушку съ ребенкомъ, на мъстъ держать стануть?...
 - Съ ребенкомъ... съ ребенкомъ...

Въ ея заплаканныхъ глазахъ сверкнулъ злой огонекъ.

- Ну, да, помните, небось, что когда меня бросили, я была въ положеніи... Сами же мнъ совътовали въ пріють подкинуть.
 - Маша... Маша...
- Нечего! Правда въдь! Испугались, что въ "исторію" попали. На другую квартиру переъхали, пу-

скать не велъли... А потомъ удивляетесь, что на улицу попала!..

- Но я... но я...
- Знаемъ, какъ вы всъ говорите! "Почемъ я знаю, что это мой!" Такъ не угодно ли прогуляться, пойдемте, поглядите: двъ капли вылитый вы. Не будете сомнъваться!
- Но гдъ же ребенокъ? Въдь ты же безъ квартиры...
- У сапожника въ ученьи. Шпандыремъ по головъ быють вашего сына, подмастерья за волосы таскають, порють не на животь, а на смерть...
 - Перестань, перестань...

Стыдъ, какая-то тоска охватывала Василія Николаевича.

- Замолчи ради Бога!
- Нечего молчать. Воть гдѣ накипѣло все это. Ваши-то дѣтки, небось,—другія-то,—нарядныя ходять, видѣла я ихъ, будь они...

Какой-то инстинктивный ужасъ передъ проклятіемъ этой женщины, которое готово было обрушиться на его дътей, охватилъ его.

- Маша! Маша! Не говори этого, не говори о моихъ дътяхъ!
- A это не вашъ ребенокъ? Не ваша кровь? Однимъ все, а другого ремнемъ лупятъ...

Она уже перестала дрожать, она больше не коченъла отъ холода, кровь прилила къ лицу.

Она говорила громко, взвизгивая, наступая на него, схватила его за руку.

— Елку, небось, устраиваешь для своихъ дътей. Елку? А другого колодкой быють по головъ... И вдругь онъ почувствоваль, что его, его ребенка быють по головъ колодкой!

Онъ вскрикнулъ:

— Маша! Маша! Ради Бога! Перестань!... Гдъ онъ? Глъ?

Ему хотълось схватить этого ребенка, вырвать оттуда, гдъ его мучать, увести, обласкать, кинуться передъ нимъ на колъни, просить прощенія, плакать, рыдать передъ своимъ ребенкомъ.

Его голосъ такъ задрожалъ, когда онъ говорилъ это, въ немъ послышалось такъ много муки, страданія, что у Вари вдругъ исчезла куда-то вся злоба, къ горлу поднимались, ее душили какія-то теплыя слезы.

Не слезы влобы, которыя давять, ръжуть горло, а слезы нъжности, любви, чего-то такого новаго, неиспытаннаго.

Она схватила Петра Петровича за объ руки.

— Пойдемъ, пойдемъ туда... Они еще не ложились... Подъ праздникъ подканчиваютъ работу́... Поздно сидятъ... Мы увидимъ его... Приласкай хоть разъ... хоть разъ своего ребенка!..

Дальше она не могла говорить. Слезы хлынули, она зарыдала.

— Идемъ! Идемъ! — торопилъ онъ.

И они быстро пошли, почти побъжали.

Она, рыдая, на ходу утирала слезы. Онъ со слезами на глазахъ.

Онъ забыль обо всемь—о жент, о дътяхъ,—онъ думаль только объ этомъ ребенкт, котораго онъ сейчасъ прижметъ къ своему сердцу.

Они быстро перебъгали черезъ улицы, бъжали тротуаромъ, завернули въ какія-то ворота, спотыкаясь,

пробъжали обледянълый дворъ, повернули куда-то за уголъ и остановились у двери, обитой рогожей.

— Здъсь! — сказала она, еле переводя дыханіе, и отворила дверь.

Оттуда на нихъ пахнуло какимъ-то вонючимъ паромъ, запахомъ кожи, вара, пота, щей. Слышались пъсня, ругань и торопливый стукъ молотковъ, которыми заколачивали сапожные гвозди.

— Что же ты?.. Идите!

Нътъ, какъ вамъ нравится моя своячиница! Сейчасъ пришла и повъсила въ шкапу рядомъ со мной мои новыя панталоны.

Ей пришла въ голову мысль примърить ихъ на себя: хотятъ рядиться и ъхать къ знакомымъ.

Могу сказать, примърила!

Теперь въ эти панталоны можетъ войти шесть такихъ ногъ, какъ мои.

Когда дамы съ ихъ бедрами примъряють наши панталоны, панталоны висять потомъ на нашихъ ногахъ, какъ на палкахъ.

И кто, спрашивается, позволилъ ей надъвать мои панталоны!

Въдь не надъваю же я ея!

Яковъ Семеновичъ, чортъ его побери, шагнулъ въ эту сырую, грязную, промозглую мастерскую.

Онъ съ ужасомъ глядълъ передъ собою, глядя на этихъ лохматыхъ, нечесанныхъ, грязныхъ мальчишекъ съ перемазанными лицами.

— Который изъ нихъ его сынъ?

А сзади него раздался радостный голосъ матери:

— Петя!

Этотъ голосъ, въ которомъ было столько свътлой радости, счастья, материнской любви, привелъ въ веселое настроеніе всю мастерскую.

Подмастерья заржали:

— А! Грушка! Съ кануномъ праздника!

Мальчишки, чтобы не отстать отъ варослыхъ, загоготали, заорали.

У Семена Николаевича голова пошла кругомъ.

Ему показалось, что онъ попаль въ какой-то адъ.

Онъ слышалъ только, какъ кто-то крикнулъ:

— Петька! Ступай! Мамка денегь и гостинцевь принесла! Xo-xo!

И все покрылось снова гоготаньемъ.

Какому-то мальчишкъ на ходу дали подзатыльника, и Николай Семеновичъ отшатнулся, когда передъ нимъ появился всклоченный, измазанный мальчишка и, улыбнувшись во весь ротъ циничной улыбкой, крикнулъ:

— Здрасьте, господинъ, съ праздничкомъ! На чаекъ бы съ вашей милости! Маменькъ почтенье!

Петька считалъ долгомъ щегольнуть передъ мастерской удальствомъ и лихостью.

Мастерская загоготала.

Петръ Васильевичъ отшатнулся съ отвращеніемъ, съ ужасомъ.

— Это... это... его сынъ...

Одна мать ничего не видъла, не слышала, не замъчала, она толкала Петра Васильевича, глядя на Петьку счастливыми глазами, словно передъ ней былъ красавецъ-ребенокъ, весь въ кружевахъ и лентахъ.

— Что жъ ты?.. Цълуй его... Цълуй... Воть онъ... нашъ Петя... Что жъ ты?.. Что жъ ты?.. Петръ Васильевичъ съ ужасомъ глядѣлъ на сына, нагнулся и поцѣловалъ его подъ хохотъ всей мастерской.

Ему давило грудь, нечъмъ было дышать.

— Такъ... такъ... цълуй его... цълуй...— слышался среди всего этого ада быль счастливый голосъ матери.— Петя... Петя... цълуй его... цълуй... Въдь это твой отецъ!

Шумъ, гамъ, ревъ, хохотъ поднялись въ мастерской...

- На-те вамъ, на-те!—крикнулъ Петръ Ивановичъ, дрожащими руками вынулъ бумажникъ, бросилъ и, не помня себя, кинулся изъ этого дома.
- Подлецъ! раздался женскій крикъ, почти вопль, среди этого дьявольскаго содома.

Петръ Ивановичъ бъжалъ по улицамъ; шумъ, гамъ, свисть, хохоть звучали у него въ ушажъ.

Онъ задыхался, какъ задыхаются во время кошмара. И очнулся, только пробъжавъ чуть не десятокъ улицъ.

Онъ былъ близко отъ своего дома.

У него подкашивались ноги, пока онъ бъжаль къ подъъзду, пока звонилъ.

Ему казалось, что вотъ-вотъ его схватить женщина и потащить туда, въ эту ужасную берлогу.

Боже, какъ долго, какъ долго не отворяли.

Отворили! Наконецъ-то!

Петръ Ивановичъ упалъ на стулъ въ передней.

— Папа! Что ты такъ долго?

Въ переднюю вбъжали дъти.

Маленькая Маруся въ бъленькомъ платьицъ съ розовыми бантами, съ волосами, какъ ленъ, карабкалась къ нему на колъни, лъзла цълсваться и вдругъ расхохоталась.

- Папочка! Папочка! Гдѣ ты такъ испачкался? У тебя все лицо черное! Папочка!
 - Папочка! Папочка!—звенъли дътскіе голоса.

У Ивана Петровича хлынули слезы.

Онъ прижалъ къ себъ свою крохотную дъвчурку, покрывалъ поцълуями ея личико.

— Дъточка! Дъточка!

И, словно призракъ какой-то, передъ нимъ стоялъ грязный, лохматый мальчишка съ циничной улыбкой на вымазанномъ лицъ.

Дальше я не могу писать, потому что меня перевернули вверхъ ногами.

Шкапъ, оказывается, нужно на праздники вынести въ сарай.

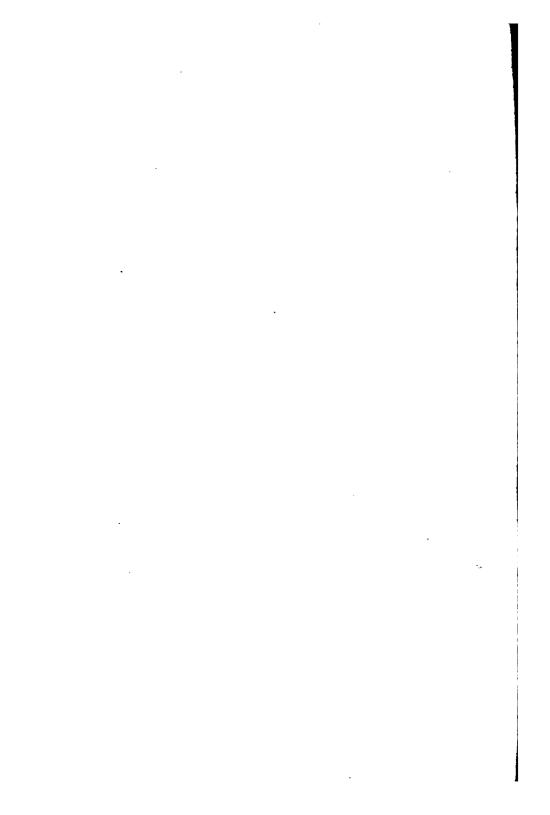
Про меня среди уборки, разумъется, забыли.

Меня несуть вмъстъ со шкапомъ.

Что я буду дълать въ сараъ, да еще вверхъ ногами?

•

Пњени паяца.



Пъсни паяца.

Смъйся, паяцъ!

Жизнь несется стрълой. Что радость и горе? Пылинки, приставшія къ ней.

Все отлетаетъ при быстромъ полетъ.

Все отлетаетъ, не оставляя слъда.

Смъйся жъ надъ радостью, смъйся надъ горемъ. Смъйся, паяцъ!

I. Старая пѣсня.

Это случилось давно, но это случалось и раньше. Арлекинъ любилъ Фаншетту, а Фаншатта—Арлекина. Онъ твердилъ ей:

— Будь моею, и клянусь, тогда красотки для меня не будеть въ мірѣ лучше, краше и милѣе дорогой моей Фаншетты. И клянусь, что въ мірѣ цѣломъ для меня не будеть женщинь, кромѣ женщины единой—дорогой моей Фаншетты.

И повърила Фаншетта.

Шесть недъль не сводить взоровъ Арлекинъ съ своей Фаншетты, шесть недъль одно и то же онъ твердить, глядя ей въ очи:

— Ты, какъ майскій день, прекрасна!

Шесть недъль!

А на седьмую приглянулась Коломбина.

Это случилось давно, но это случалось и раньше.

* *

И Фаншетта не зъваетъ. Что жъ? Понравился паяцъ ей. Развъ сердцу что закажешь?

Былъ паяцъ красивъ собою. Куда лучше Арлекина! Веселъ, милъ и остроуменъ. Какъ талантенъ! Какъ изященъ! Съ нимъ лишъ счастлива Фаншетта. Арлекину въ очи глядя, она думаетъ:

"Какое же здъсь сравнение быть можетъ?"

Въ поцълуяхъ этотъ—школьникъ, а паяцъ—любви учитель. Лишь въ его объятьяхъ только и поймешь, любовь что значитъ. Сколько нъжности во взглядъ, сколько страсти въ поцълуяхъ. Арлекинъ же...

Арлекинъ же?.. Арлекинъ, Фаншетту нъжа, лишь мечталъ о Коломбинъ.

Это случилось давно, но это случалось и раньше.

* *

Страсть свою сдержать не въ силахъ, поръшила вдругь Фаншетта убъжать отъ Арлекина.

Арлекинъ нашъ занятъ чѣмъ-то (вѣроятно, Коломбиной). Арлекина дома нѣту. И Фаншетта поспѣшаеть собирать свои пожитки.

А паяцъ стоитъ на-стражъ. Гей, Фаншетта! Поскоръе! Арлекинъ идетъ проклятый!

И Фаншетта поскоръе, второпяхъ не разбирая (до разбору ль?), прячетъ письма.

Письма, что писалъ паяцъ ей. Письма, дышащія страстью, буква каждая въ которыхъ поцѣлуемъ дышить знойнымъ.

Пусть не знаетъ Арлекино, съ къмъ Фаншетта убъжала! Пусть не знаетъ, что давно ужъ рогоносцемъ онъ гуляетъ!

— Гей, Фаншетта! Поскоръе! Арлекинъ подходитъ близко!

И Фаншетта, по ошибкъ, прячеть письма не паяца, а тъ письма Коломбины, что писала къ Арлекину.

Это случилось давно, но это случалось и раньше.

* *

Разъ Фаншетта захотъла прочитать паяцу снова всъ тъ письма, что писалъ онъ.

— Чтобы клятвы не забыль ты, чтобъ словамъ любви и ласки у себя же поучился! Чтобы нѣжностію прежней окружаль свою Фаншетту, чтобы помниль, что измѣной я убила Арлекина!

И въдь надо же случиться!

Мысль такая жъ точка въ точку вдругъ пришла и Арлекину.

Захотълъ онъ Коломбинъ прочитать ея же письма, Коломбинъ чтобъ напомнить про весну любви взаимной,—той любви, что погубила его бъдную Фаншетту. Въдь Фаншетта, догадавшись про измъну злую мужа, убъжала и, навърно, нътъ бъдняжки ужъ на свътъ.

Со слезой невольной оба въ одинъ часъ, въ минуту ту же, Арлекино и Фаншетта принялись читать тъ письма.

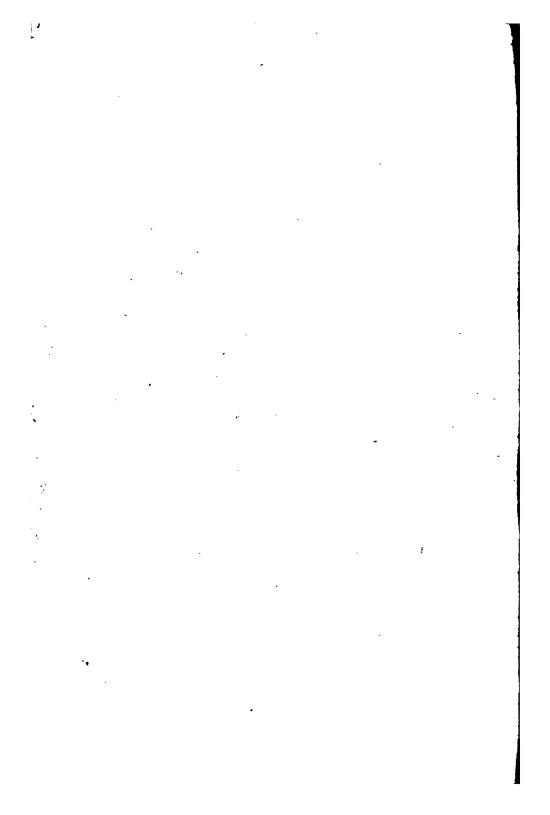
Нътъ! Представьте удивленье!

- Измънила мнъ Фаншетта!
- Измѣнилъ мнѣ Арлекино!

И съ отчаяньемъ во взглядъ восклицаютъ въ одинъ голосъ:

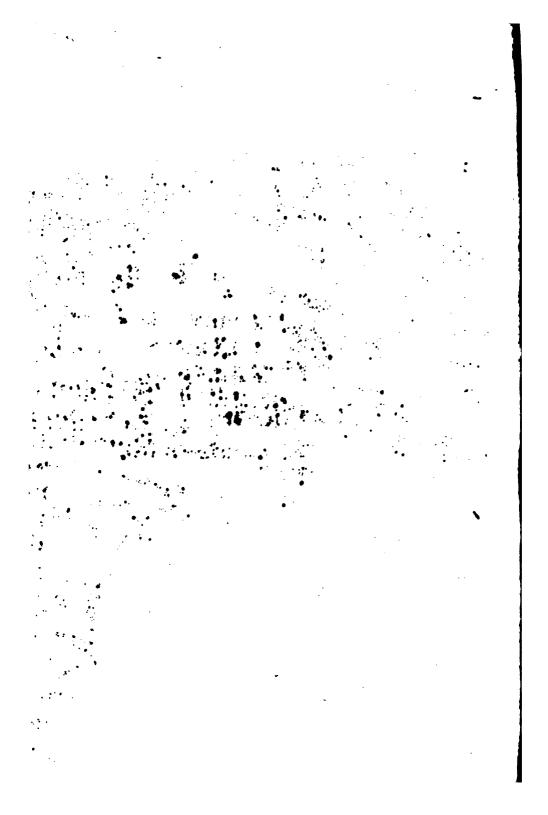
— Это случилось давно, но жаль, что со мною не случилось этого раньше!



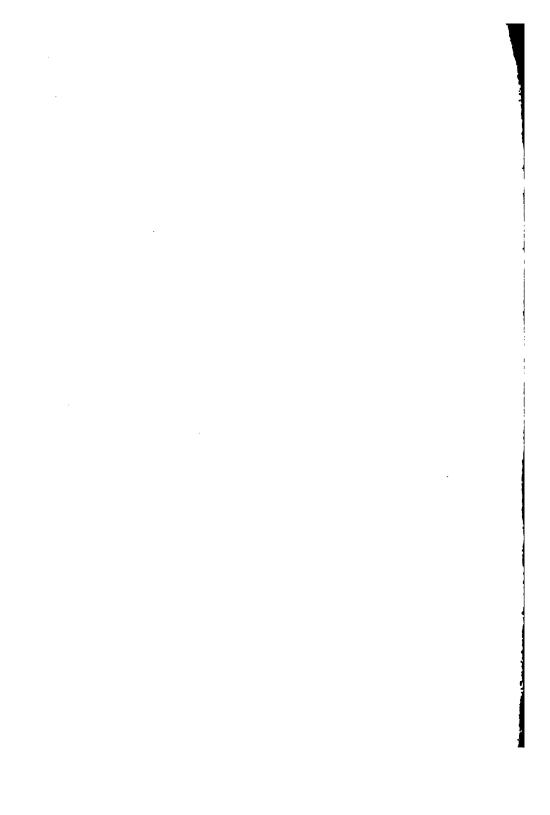


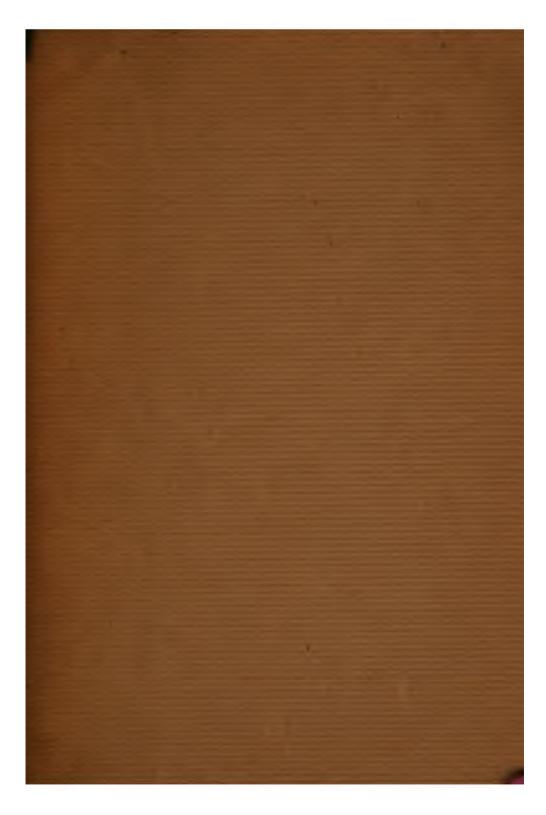
Оглавленіе.

*****			Cmp.
Очаровательное горе			. 5
Писательница			. 15
Петербургъ ,			. 23
Встрача ,	·	. .	. 33
Знаменитость			. 53
О чемъ говорять въ Коломив	•		. 67
Убійство	. . . • · · ·	<u>.</u>	. 75
Винтъ	•		. 89
Ночь		٠, ٠,	. 97
Тънь			. 111
Въ последній чась	•		. 128
Зритель	•		. 139
Случай	·' •		153
Жельзнодорожная семья			. 165
Человъкъ, котораго интервью провади		· : .	. 185
Замъчательнъйший городъ въ міръ	•	·	• 203
Какъ я быль туркомъ			. 219
Святочный разсказъ			. 237
Пъсня паяца			. 253

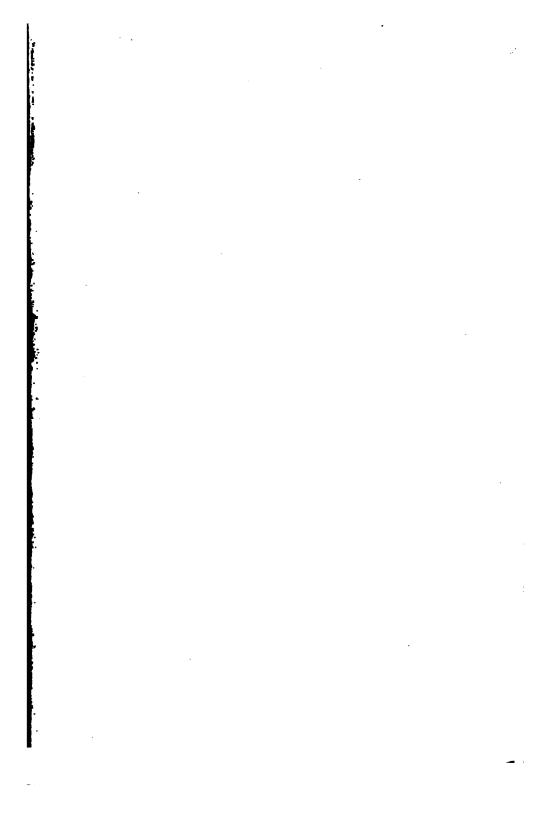


•	
•	
•	











	·	
·		
		t

